

В. МИКУЛИЧ

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
ДОСТОЕВСКИЙ
Н. ЛЕСКОВ
ВСЕВОЛОД ГАРШИН

19  29

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРАДЕ

*Обложка работы
М. А. Кирнарского*

*Ленинградский Областлит № 15530
Заказ № 125 Тираж 3200—15 л.
Гос. тип. им. Евгении Соколовой,
Ленинград, пр. Красн. Команд., 29.*

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В своей книге о великих людях, пытавшихся с максимальной правдивостью и искренностью изобразить себя и свой собственный жизненный путь, Стефан Цвейг прекрасно вскрывает неразрешимость этой задачи для человеческого гения. „Наша память, — говорит он, — непохожа на бюрократически точную регистратуру, где в надежно упакованных бумагах исторически верно и неизменно — акт к акту — документально изложены все деяния нашей жизни“. Память — нечто гораздо более сложное, чем валик диктофона, на котором механически отмечается все пережитое, все виденное и слышанное, валик, с которого в любую минуту можно списать все, что на нем начертила игла времени. Воспоминание о событии никогда не равно событию; воспоминание всегда преобразует его, видоизменяет, не только что-то стирает в нем, но и подрисовывает, подкрашивает событие, приводя его к какому-то общему знаменателю с другими событиями, со всей суммой переживаний и воспоминаний данного лица.

Вот почему любые мемуары, какими правдивыми и точными они ни казались бы, никогда не могут претендовать на полное доверие, никогда не могут оказаться до конца достоверными и объективными. Наша память производит отбор фактов, она записывает не все; наше мировоззрение придает им нашу личную окраску. Поэтому два человека, вспоминая об одном и том же событии, об одном и том же факте, описывают его по-разному, сообщая не одни и те же детали, подчеркивая не одни и те же слова и по-разному их освещая.

Это обстоятельство и вызывает неослабевающий интерес к мемуарам, к большому количеству их. Это дает смысл, оправдывает появление и изучение огромного потока мемуаров, посвященных выдающимся людям и историческим событиям. Читатель, даже не вдаваясь в теоретические рассуждения, инстинктивно чувствует, что только сопоставление целого ряда рассказов об одном и том же, только контаминация различных оценок и освещений может дать истинное представление об интересующем его явлении, может дать ему возможность создать собственную оценку.

Все это необходимо учитывать, приступая к чтению любой книги, имеющей целью в той или иной форме закрепить сохранившееся в памяти автора. Сугубо надо иметь это в виду, читая настоящую книгу, автор которой даже не делает попытки скрыть свои субъективные оценки и личные симпатии. Автор не устоял, а пожалуй и не пытался устоять, против основного соблазна мемуариста — замечать в „великих“ только великое и пропускать мимо внимания маленькие слабости, неизбежные в каждом человеке. В результате, если мы отбросим чрезвычайно ценный документальный материал — письма, — перед нами будет восторженный панегирик. Мы давно уже отошли от наивного представления древних о писателе как о пророке, как о носителе „нечеловеческого“ начала. Мы знаем, что писатель, как бы ни был он велик, все же остается человеком со всеми присущими ему свойствами, недостатками и пороками. Мы отошли от того, недавно еще распространенного взгляда, что недостатки и пороки великих людей надо замалчивать, скрывать в узком кругу специалистов, не разглашать их широкой читательской массе. Вот почему может несколько поразить

читателя „иконописность“ настоящей книги, склонность автора рисовать скорее „лики“ великих писателей, чем их подлинные человеческие лица; в частности фигура Толстого, который показан исключительно, как философ и религиозный мыслитель, как мудрый старец, и в котором все остальные стороны дарования до такой степени стерты, что о самом главном, о том, что он был гениальный художник, можно только догадываться.

Не следует однако расценивать это свойство как недостаток книги: восторг автора придает книге пафос подлинного человеческого голоса, спасает ее от сухости протокольного повествования, делает ее живой и занимательной. А сознательный читатель сможет критически отнестись к манере автора и, сопоставив его сообщения о четырех больших писателях с другими сведениями о них, почерпнуть не мало нового, интересного и значительного для характеристики каждого из них.

Книга В. Микулич, конечно, не может служить основой для ознакомления с личностью Толстого или Достоевского, да она и не претендует на это, но в ряду мемуаров о писателях прошлого века она займет последнее место.

Д. В ы г о д с к и й.

У ЛЬВА ТОЛСТОГО

Лето 1891 года я проводила в Павловске. Возвращаясь как-то с прогулки и вижу на столе у себя письмо от Суворина, которого я знала по слухам и по его деятельности, но никогда и нигде не встречала. Он только-что вернулся из Ясной Поляны и пишет мне по поручению Льва Николаевича Толстого, который сказал ему: „Передайте ей, чтобы она года два ничего не печатала. А то наших писателей, как начнут хорошо, начинают рвать во все стороны. Они принимаются писать без удержу, и ничего из них не выходит“... Меня очень тронуло внимание великого писателя. Незадолго до этого я познакомилась с Татьяной Андреевной Кузминской, сестрой жены Толстого. Мы встретились у Познанских, на чтении „Крейцеровой сонаты“ в рукописи. Общество собралось довольно фешенебельное. Услыхав эпиграф: „А я вам говорю: кто смотрит на женщину с вожделением...“ нарядная и красивая м-м Трут сказала насмешливо: „Belle exorde!“ (прекрасное вступление). А когда чтение „Сонаты“ окончилось, все заговорили: „Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut?“ (Но чего он хочет? Чего он хочет?). Видя, как я заглядываюсь на Татьяну Андреевну, хозяйка дома пригласила меня пообедать с ней, после чего мы обменялись и визитами. Татьяна Андреевна рассказала мне очень много интересного о жизни Льва Николаевича и его семьи, о его дочерях, Тане и Маше. Она сообщила между

прочим, что почти каждое лето она проводит в Ясной Поляне, и звала меня приехать к ней в гости. Но я не поехала.

Осенью, вслед за письмом Суворина, приехала ко мне издательница „Северного Вестника“ Любовь Яковлевна Гуревич. Она только-что побывала в Ясной Поляне и была всецело под обаянием великого человека и его семьи. Она говорила: — „Я точно прожила три дня среди действующих лиц „Войны и мира“ и „Анны Карениной“, до такой степени всё там казалось мне близким и давно знакомым. О вас спрашивали. Отчего же вы к ним не едете?“

По уходе ее я долго думала о Толстом, о Толстых и, набравшись храбрости, написала Льву Николаевичу.

Татьяна Андреевна вскоре сама принесла мне его ответ, очень довольная тем, что может так порадовать меня:

Вы не пишете мне ни вашего отчества ни адреса, но я все-таки пишу через Татьяну Андреевну и без обращения, так я рад был получить ваше письмо. Очень жаль, что вы не приехали летом; мы бы лучше познакомились, чем письменно. То, что вам передавал Суворин о моем восхищении перед вашей повестью, наверное только в малой степени выражает то, как она мне нравится. Очень интересно, что вы напишете теперь. И по-правде скажу: очень боюсь. Надо, чтобы было очень, очень хорошо, чтобы было не хуже „Мимочки“. А „Мимочка“ по тону своему так оригинальна, что следующая вещь не может быть уже похожа на нее по тону. Какой же будет тон следующей? тоже особенный, оригинальный, или простой — языком автора? Все это меня интересует. Интересно мне тоже ваше отношение к монаху Вар-

наве. И еще больше—ваша мечта пойти с котомочкой на богомолье. Я нахожу, что это не только не странно и не смешно, но гораздо более естественно, чем в шляпе и ротонде пойти по Невскому. Желаю вам мира с людьми и любви к ним и от них, как можно более серьезного, религиозного отношения к своему писанию, т.-е. чувствовать, что делаешь это больше для бога или, скорее, перед богом, чем перед людьми.

Лев Толстой.

Издательница „Северного Вестника“, Любовь Яковлевна Гуревич, познакомила меня с Волынским (Флексер) и моим близким соседом Н. С. Лесковым. Оба оказались пламенными почитателями Толстого и стали снабжать меня всеми последними его сочинениями — и запрещенными и не запрещенными. Узнала я о Бондареве и о Сютееве, прочла критику догматического богословия, евангелие Толстого и проч.

Лесков преклонялся перед Толстым и называл его своей „святыней на земле“: „Я обязан ему более чем покоем земной жизни, — говорил он: — Я принял его разумение жизни, в нем успокоился и свой фонаришко бросил. Он уже не нужен мне, раз я вижу перед собой яркий маяк и знаю, чего держаться“.

Лесков побывал уже и в Ясной Поляне и вывез оттуда прекрасные впечатления: „Это удивительная семья — рассказывал он мне: — Простая семья, в которой всё можно сказать, потому что там и сами всё говорят, а главное — всё понимают“.

Лесков любил самого Льва Николаевича, его сына Льва и дочерей Татьяну и Марию; но высоко

читил и графиню Софью Андреевну, которой, по его словам, „меч проходил душу“.

Ему нравилась наружность графини, ее искренность и откровенность. Он часто говорил: „Мы должны быть ей благодарны. Она нам сохранила его“. Из дочерей он предпочитал Татьяну, находил ее очень умной и привлекательной. О Марии же он говорил: „Я не понимаю ее, но в присутствии ее мне хочется сказать: „выди от меня, я — человек грешный“...“

Глубоко преклоняясь перед Толстым, Лесков насмешливо относился к его последователям, называл их „лепетунами“, беспощадно придирался к их словам и поступкам и рассказывал о них анекдоты. Видя, что я интересуюсь толстовцами, он пригласил к себе бывшего толстовца А. М. Хирьякова, и вдвоем они стали рассказывать мне биографию известных им толстовцев. Я наскоро записывала их рассказы в тетрадку, но, перечитав дома все записанное, я увидела, что это все карикатуры. И я все разорвала, не сочувствуя такому отношению к последователям Толстого.

Случайно у меня уцелела страничка о Сютееве. Вот что рассказал Хирьяков об этом сектанте. „Память адаманта. Выучил наизусть Апокалипсис и Евангелие. Маленький старичок, 38 лет отсидевший в тюрьме. Знал нравы попов и умел их бесить мастерски. Говорил, что в тюрьме люди отличные, ожесточенные. Пришли в тюрьму озлобленные, возвратились божьими работниками. В тюрьме Сютеев многим помогал и всех учил. Не велел жениться. Детей не крестить“. В последнюю побывку Хирья-

кова в Ясной Поляне он застал там старика-сектанта. Утром Сютаев вышел с Ванечкой и говорит: „А я недоволен Львом Николаевичем. Он свое запирает... Лукавствует...“ — И ушел пить чай в трактир. Прямо из Ясной Поляны Сютаев отправился к императору в Гатчино: — „Хочу рассказать ему, как его обманывают...“ — Сел на машину и доехал до Гатчины, где его приняли два жандарма.

Крестьянин Новоторжского уезда Тверской губернии, Сютаев отделился от православия после смерти своего ребенка. Священник не соглашался хоронить дешевле полтинника, а у Сютаева было только тридцать копеек. Он похоронил ребенка сам, отстал от церкви и других стал отговаривать, занялся чтением Библии и составил группу последователей, которые отрицали современную власть, отрицали подати, суд и участие в военной службе (все то, что отрицал и Лев Николаевич).

Когда восторжествует божественная правда, все будет общее, исчезнет разделение на народы, убийства прекратятся, и будет царство сютаевцев на земле.

В короткое время число последователей Сютаева возросло до тысячи человек. Лев Николаевич очень заинтересовался стариком и его воззрениями, которые так сходились с его собственными.

Как-то в начале марта 1893 г. я получила записку от Лескова: „Здесь старик Ге, умный старый друг Льва Николаевича и единого духа с ним. Он очень хочет побеседовать с вами. Для сей цели, 9 марта, в 12 часов дня, на Фурштадтской будет сервирован чай с маслинами. Прилетят и жаворонки“. Я пошла

на чай с маслинами. Седовласый словоохотливый художник вышел мне навстречу в переднюю и с места назвал меня дорогим другом. Он поэкзаменовал меня относительно знакомства с учением Толстого и настаивал на том, чтобы я, не откладывая, побывала в Ясной Поляне. Вскоре после этого, уезжая в Киев повидаться с сестрой, которой сделали операцию, я написала Марии Львовне, спрашивая, могу ли я заехать к ним на обратном пути. Последовало приглашение, которым я решила воспользоваться.

Прибыв вечером в Тулу, я переночевала в гостинице Чернышева, а утром 12 мая поехала на извозчике в Ясную Поляну. Утро было чудное. В небе ни облачка. Кое-где по оврагам и канавам еще белели прохладные пятна снега, но тут же рядом зеленели уже свежие всходы. Жаворонки журчали свои чистые песенки. По дороге мы то встречали, то обгоняли группы богомолок и богомольцев с котомками и посохами. Они здоровались и кланялись.

Извозчик мой, Трофим, сморщенный седой старичок, спросил, не родня ли я графу. Он о нем много слышал, но бывать у него на дворе ему еще не приходилось. Я спросила, знают ли в Туле Льва Николаевича и что о нем говорят.

— Знать-то все знают, а говорят — разное говорят. Говорят, что он вроде как бы чудака. Господин богатый, а ходит просто и работу тоже простую какую-то делает. Видно, хочет всякое состояние узнать... Как Петр Великий... — Вчера Трофим впервые видел портрет Петра Великого: — Вот человек был! Царь был, а плотником работал, челны мастерил, корабли строил, до всякого дела сам доходил, в поте

лица хлеб ел, честный человек был. Ну, и всякое состояние узнал. А ему и надо. Коли ты людьми правишь, ты и знай, кем ты правишь. Я конем, скажем, правлю. Так я коня моего знаю, и конь меня знает... А то как же...

Трофим долго еще разговаривал со своим конем, чтобы доказать, как он хорошо его знает; потом он снова обернулся ко мне и задумчиво вымолвил:

— А только хоть и всякое состояние узнаешь, а того, что там будет (он показал кнутом на небо) — не узнать. Не дано...

Спускаясь к железнодорожному мосту, мы услышали, что нам строго кричат что-то. Невдалеке гарцовал конный жандарм. Оказалось, что в виду ожидаемого проезда императора Александра III с семьей не дозволено подъезжать к мосту. Трофим, поворчав в седую бороду, стал препираться с остановившим нас мужичком.

— Да чего ты, дедушка, — спокойно возразил тот: — по своей, что ль, я охоте? Тоже не больно весело тут с утра не евши стоять. Приказано.

Жандарм подскакал к нам, чтобы выслушать прения сторон. Трофим взмолился: — Ваше благородие, барыня с зонтиком, и больше ничего! Извольте поглядеть... Ну, барыня с зонтиком. Я и говорю... — И он повторял „барыня с зонтиком“... — пока жандарм не махнул рукой, говоря: „проезжайте“...

Когда дорога стала подниматься в гору, мы оба пошли пешком. И так чудно было идти тропиночкой вдоль дороги, в тишине весеннего утра, что я даже позабыла о моем волнении по поводу предстоящей

встречи. Трофим обратил мое внимание на колодец, из которого, сколько его ни засыпают, вода все бежит... Он снял шапку и перекрестился, поровнявшись с колодцем. Поднялись на гору. Дорога пошла уже ровная, легкая.

— Ну, садись, барыня. Недалече теперь.

Все ближе и ближе Ясная Поляна, простая, открытая и приветливая. Вот и усадьба, и сад с вековыми липами, и ограда, и две белые башенки. Трофим въезжает в ворота. Сердце мое начинает усиленно биться: „Это не сон. Я—в Ясной Поляне. Боже, я в Ясной Поляне. Лев Толстой! Лев Толстой!“...

Слева светится пруд, в котором крякая плещутся гуси и утки. Справа в отдалении виднеются белая лошадь и работник в красной рубахе.

Трофим подкатывает к крыльцу белого дома. Сейчас же подходит ко мне девица в красном платье, с красным зонтиком, и старик в круглой черной шапочке. Это — художник Ге и Татьяна Львовна.

По близорукости я не сразу узнала старого художника. Но он сам подходит ко мне, заговаривая со мной как со старой знакомой. А Татьяна Львовна, внимательно разглядывая меня веселыми умными глазами, говорит:

— Вы В-ая, не правда ли?

Я спрашиваю ее о Марье Львовне.

— Маши нет. Она уехала в Самару. Она очень жалела, что с вами не увидится, но она уехала на кумыс с больным братом. У нас Лева болен. Больше у вас нет вещей? Их снесут в вашу комнату. Вы будете жить у Маши. А теперь пойдемте к мамá. Она сейчас уедет в Тулу, повезет Андрюшу

к дантисту. Но пока она еще здесь. — Говоря это, Татьяна Львовна ведет меня по деревянной лестнице наверх. Ге поднимается за нами. Я говорю тихононько:

— Я боюсь графини.

— И ее? — насмешливо спрашивает Татьяна Львовна. — Не бойтесь.

Мы входим в большую светлую комнату. У входа — рояль. На противоположной стене несколько портретов. Посредине стол с самоваром и чашками. Одновременно с нами, но из другой двери, входит графиня, стройная, свежая, моложавая, в черной юбке и черной шелковой блузочке с белыми полосками и отделкой из черного кружева. Лицо у нее доброе и симпатичное. Она чуть-чуть начинает сесть.

Она наливает и предлагает мне кофе и говорит:

— Мы о вас слыхали от моей сестры, Татьяны Андреевны. Вы с ней познакомились у Познанских? Говорим о Познанских.

Англичанка вводит в комнату толстенькую круглолицую Сашу и нежного кудрявого Ванечку. Ему пять лет. Саше годом или двумя больше. Дети садятся против меня и тоже пьют кофе, молча поглядывая на меня.

Ге спрашивает меня о Лескове и о том, с кем из толстовцев он меня познакомил. Я спешу сказать, что хотя я большая почитательница Льва Николаевича, но я не толстовка.

— Позвольте пожать вашу руку, — говорит мне графиня с радостной улыбкой.

— А кого вы знаете из толстовцев? — спрашивает Татьяна Львовна.

— Познакомилась я только с Бирюковым; но и от него и от Лескова я слышала о Ругине, о Горбунове, о Новоселове и братьях Алехиных, о Трегубове, Черткове, Калугине, Хилкове и Сопощко.

Ге начинает перебирать этих людей единого духа. Он умиляется при имени каждого и всех превозносит до небес.

— Замечательная личность... глубокое понимание, преданность учению... Вы знаете, что он сделал?

Графиня их всех порицает:

— Тунеядцы, приживальщики, переряженные, ничего не делают. А вы знаете, как их наша прислуга зовет? „Господа ленивые“... И верно!

Татьяна Львовна в своих отзывах держится середины между этими двумя крайними мнениями. Она кажется мне необыкновенно милой и привлекательной в своем красном летнем платье, с золотыми часиками на короткой золотой цепочке вокруг шеи. У нее манеры, выговор, интонация светской девушки высшего круга.

Мать и дочь хорошо и модно одеты и причесаны. По внешности обе не толстовки. Это напоминает мне сетования Лескова по поводу того, что в „толстовском“ движении не принимают участия женщины. Я говорю об этом.

Ге восклицает с негодованием:

— Как нет женщин у толстовцев? Что он говорит? Да одна Маша стоит нескольких.

И старик начинает с увлечением восхвалять ее.

Графиня соглашается с тем, что Маша очень добра. Она всегда живет для других. Вот и теперь она уехала с больным братом.

— Изумительная девушка, — восторженно твердит Ге. — Вы знаете, что она делает? В четыре часа утра она уже на ногах... Перечистит всем в доме сапоги...

Графиня хвалит еще и жену Черткова. Тоже толстовка и вегетарианка. Очень милая женщина, только все, бедняжка, хворает.

О самом Черткове графиня отзывается тоже благосклонно и сочувственно и неожиданно прибавляет:

— И его мне жаль. Ходит толстый, красный...

— Не пора ли вам ехать, мама? — прерывает ее Татьяна Львовна.

Лошади еще не поданы. Графиня рассказывает мне, что дочерям ее столько работы при отце, что если бы они теперь вышли замуж, то пришлось бы нанять посторонних для их секретарской работы. Вот и теперь ему так Маши недостает. Он вчера сказал: „Точно ее замуж выдал“.

— Ну-с, — обращается ко мне Татьяна Львовна, — отца вы не увидите до завтрака. Теперь он работает.

Но дверь с лестницы открывается, а на пороге показывается необыкновенный человек с необыкновенным лицом и удивительными глазами. Неслышно ступая сапогами без каблучков, он подходит ко мне. Мы здороваемся. Вижу подле себя блузу, пояс, руки, седую бороду, большой лоб, густые брови, живые пронизательные глаза. Слышу его голос — мягкий, серьезный. Соединить все это в одно целое и понять, что это и есть Лев Толстой, — мне еще трудно.

Сначала лицо его кажется мне только умным и строгим; но вот он улыбается, и эта улыбка придает его лицу выражение доброты и мягкости. Пока он спрашивает меня о Киеве, об операции и о лечении сестры, графиня, Ге и Татьяна Львовна поглядывают на меня, как бы спрашивая взглядом: „ну, каков наш?“ Сказав, что мы увидимся и побеседуем за завтраком, Лев Николаевич возвращается к своей работе. Ге сообщает мне, что он заканчивает свое „Царство божье“. Замечательная, сильная вещь.

Мы встаем из-за стола. Графиня увозит Андриюшу в Тулу к дантисту. Дети с англичанкой давно уже ушли на станцию посмотреть царский проезд. Татьяна Львовна предлагает мне и дедушке (Ге) пройти туда же. Кстати и почту захватим.

Погода дивная. Мы идем опушкой леса. Татьяна Львовна находит два сморчка, после чего совершенно забывает о нашем существовании и принимается молча и сосредоточенно искать в траве грибы. Ге расспрашивает меня о Владимирском соборе, о Прахове, Васнецове, Нестерове, Котарбинском, вспоминает и другие русские соборы, восхищается Казанским и критикует Исаакиевский. Потом он переходит к импрессионистам и заканчивает Рафаэлем и Перуджино. От времени до времени он подзывает и увлекающуюся сморчками Татьяну Львовну и говорит ей: „Послушайте-ка, ведь это и вам интересно“.

Узнаю, что Татьяна Львовна незаурядная художница.

Идем не спеша, то болтаем то отдыхаем, останавливаемся, а когда приходим на станцию, узнаем,

что поезд уже прошел; дети его видели и давно пошли домой. Татьяна Львовна забирает газеты и почту, и мы идем обратно. Ге устал и отстает от нас. Теперь Татьяна Львовна идет со мной и рассказывает мне о себе и о Маше.

— Я много выезжала в Москве, когда была помоложе, — говорит она. — Маша тоже в то время выезжала на детские балы. Она влюблялась, обманывала гувернантку, не была примерной. Но с шестнадцати лет она стала лучше понимать то, что говорит отец. И теперь она хорошая работница, прекрасно стирает, все делает сама. Она строгая вегетарианка, как и отец, и, как и он, она отказалась от своей доли имущества при общем разделе. Из всей семьи только отец и Маша не обеспечены средствами и на свои необходимые расходы получают деньги от графини. Семья живет на так называемые книжные деньги, на доход от изданий... Все же, чем владел Лев Николаевич, теперь поровну разделено между детьми. Одна Маша совсем отказалась от собственности.

Татьяна Львовна не стыдится еще отрезать купоны и тратить их на себя, хотя и знает, что это совершенно то же, что брать деньги от мужиков непосредственно. Она надеется, что со временем это станет для нее невозможным, но пока у нее еще так много прихотей и потребностей, что они заслоняют от нее суть дела. В этом отношении сестра впереди нее. Вообще, Маша очень хороший человек. Она чутка к чужим страданиям, самоотверженна, деятельна. Но влюбляется попрежнему и большая

кокетка, никого не оставляет в покое и всякому умеет влезть в душу.

Я говорю Татьяне Львовне, что по первому впечатлению мне жаль графиню. Видно, что все здесь сплочены, увлечены новым учением, а она одна в стороне и в собственном доме живет под впечатлением постоянного отпора.

— Это верно, — соглашается Татьяна Львовна. — Но ведь ей приносится столько жертв, которых она не замечает или не хочет замечать. Когда дочери живут здесь с отцом, без нее, у них все идет гладко и ровно. А графиня сама создает себе отдельную жизнь...

— Это очень грустно, — говорю я. — Теперь она еще держится за вас, за дочерей; а когда вы выйдете замуж, ее положение здесь будет очень трудным.

На это Татьяна Львовна говорит, что они никогда не выйдут замуж: они, естественно, требовательны, это раз, а второе — они могут выйти только за последователей отца, а среди них нет такого... Я советую взять по сердцу хотя бы и не последователя и сделать его последователем. Это не трудно.

Догнавший нас Ге невольно заставляет нас перейти от разговора о женихах к разговору о Тургеневе, которого мне напоминает окружающий нас пейзаж. Татьяна Львовна отзывается о Тургеневе очень сурово и решает, что добрую половину его произведений можно выбросить без всякого ущерба для его славы. Затем, взглянув в сторону сада, Татьяна Львовна прибавляет:

— А папа ждет нас...

Стоя в конце липовой аллеи, Лев Николаевич смотрит в нашу сторону.

Мы прибавляем шагу, перепрыгиваем через канаву и подходим к нему.

— Что же, видели проезд?

— Нет, проворонили.

Мы поворачиваем к дому.

— Осторожно, не давите их, — озабоченно говорит мне Лев Николаевич.

Я смотрю себе под ноги и вижу вереницы длинных красных букашек, ползающих по дорожке. Сам Лев Николаевич внимательно к ним приглядывается и осторожно поднимает свои большие ноги, чтобы не наступить на букашек. „Belle exordel! Не убий и люби все живущее“. И я тоже начинаю шагать осторожнее, чтобы не давить насекомых, о которых не приходило в голову раньше.

Лев Николаевич еще раз спрашивает о лечении сестры, о ее докторе Рейне, говорит, что читал брошюру Рейна о народном лечении. Ему понравилось отношение Рейна к народным средствам. Вообще, и народная медицина и отношение народа к медикам кажутся ему разумными.

Завтракали вчетвером: детей накормили, не дождавшись нас, а графиня еще не вернулась из Тулы. Едим что-то вегетарианское и говорим о „Царстве божьем“, не о содержании этого сочинения, а о том, что переписывала Маша, что переписывает Таня, какие главы готовы окончательно, какие следует еще просмотреть. Ге относится с обожанием к своему другу и учителю, спешит смеяться его

шуткам и, не сводя с него восхищенного взгляда, радостно прислушивается к каждому его слову. Он восторженно отзывается о „Царстве божьем“, находит, что эта книга — откровение, переворот. Лев Николаевич скромно замечает: „Да, мне кажется, что нужно было написать это“. Внимательно посмотрев на меня, он спрашивает:

— Ваш муж был военный?

— Да.

— А отец?

— И отец, и дед (оба деда), и все дяди с той и другой стороны были военными.

Лев Николаевич замечает, что среди военных бывают хорошие люди, но все же не следует идти на военную службу, не надо принимать в этом участия.

Я вспоминаю слова покойного Всеволода Гаршина о том, что нигде он не встречал таких чудных людей, как среди военных, и говорю это.

Все вспоминают Гаршина, побывавшего в Ясной Поляне. Лев Николаевич замечает: „Да, он говорил это, но сам писал против войны“. Потом, не помню уже по какому поводу, Ге заговаривает о руках и о том, что руки наиболее характерная часть тела человека; что нельзя, например, к Татьяне Львовне приставить мои руки и наоборот. Татьяна Львовна говорит о хиромантии. Она, как и я, читала книжку Дебароля, и мы вместе начинаем рассматривать ладони Льва Николаевича и дедушки. У Льва Николаевича резко очерчен угол скромности, а у дедушки на ладони его нет. Я с удивлением говорю Льву Николаевичу: „неужели

вы скромны?“ Все смеются, а Ге говорит, подражая моему тону: „неужели я нескромен?..“

Поболтав еще, идем вниз, Лев Николаевич к себе, а мы к Татьяне Львовне. Маленькие комнатки дочерей внизу, вблизи кабинета отца. У Татьяны Львовны стоит оттоманка, на которой она спит, ширма, крошечный туалетный столик с зеркалом, мольберт с начатой работой. На стене, над диваном, висит большой портрет отца, а под ним фотография „Тайной вечери“ Ге. По стенам много карточек родных и друзей. Скромный, но уютный уголок светской девушки и художницы.

Комнатка Марьи Львовны гола, как монашеская келья. Кровать без матраса, комод без признака зеркала; прстой стол, полка книг сочинений отца и медицинские книги. Писать втроем у Татьяны Львовны немисливо. Она сажает нас у Марьи Львовны и приносит нам туда бумаги, чернил и перьев. Давая несколько скупó бумагу, она замечает, что у них выходит такое невероятное количество ее, что они всегда радуются, если кто-нибудь оставляет в письме чистый лист: все идет в дело. Указав нам что переписывать, она тоже уходит к себе писать.

Перед самым обедом вернулась графиня. Садясь за стол, она оживленно и весело рассказывала что-то о Зиновьевых и о какой-то Марье Ивановне. Кроме детей и гувернантки, за стол сели еще Вера Кузминская, племянница графини, с которой я познакомилась еще в Петербурге, и румяный блондин, доктор Зандер, учитель музыки. Всех за столом было двенадцать человек. По-

давали два лакея. Вина на столе не было. Пили квас и воду.

Лев Николаевич, Ге, Татьяна Львовна и Вера Кузминская ели вегетарианское. Графиня, дети, Зандер и англичанка — мясное. Говорили сначала о больных ногах Веры Кузминской. У нее был ревматизм, и Лев Николаевич очень сочувствовал ей. Мне было странно видеть великого писателя в роли „Левочки“, „папы“ и „дяди Ляли“, окруженного семейным муравейником. Зандер доказывал Татьяне Львовне, что ей вредно вегетарианство. Она возражала и спорила. Лев Николаевич и дедушка отстаивали вегетарианство, а графиня сказала:

— Конечно, Тане это вредно. Я всегда это думала... Они обе уже расстроили себе этим здоровье. Может быть, это и хорошо под старость, но им еще рано. А что я могу сделать? Я отлично знаю, что это им еще отзовется. Маше и теперь уже приходится кефир пить.

Ге выразительно взглянул на графиню как на преступницу и сейчас же стал рассказывать Льву Николаевичу об одном замечательном человеке, который перешел на вегетарианство, и как это хорошо на него действует.

Несмотря на свою грацию и светское воспитание, сидевшая подле меня Татьяна Львовна несколько раз капнула чем-то на скатерть, и я шепнула ей:

— Где вам замуж выходить? Вы еще скатерть пачкаете.

Она толкнула меня ногой под столом и сердито прошептала:

— Молчите.

Когда встали из-за стола, Лев Николаевич сел в кресло у стоявшего в углу круглого стола, и сейчас же семья собралась около него. Графиня принялась за работу, Татьяна Львовна шила что-то белое: картузы или чехлы на картузы. Заговорили о последней книжке „Вестника Европы“ и о романе Боборыкина. Лев Николаевич сказал, что Боборыкин пишет очень хорошо, но у него нет определенного миросозерцания: „Прочтешь его роман — литературно, интересно написанный, и не знаешь, для чего он все это рассказал, что хотел сказать. Точно он рассказывал из вежливости, а не для того, чтобы разрядиться от накопления в нем внутреннего чувства и ощущений. О Достоевском не спросишь: что он хотел сказать. Его — где ни раскрой — ясно видишь его мысли, и чувства, и намерения, его ощущения, все, что в нем накопилось, что его переполнило и требовало выхода“.

Лев Николаевич спросил меня видала ли я когда-нибудь Достоевского.

— Да, я встречала его.

Он раскрыл какой-то иллюстрированный журнал, отыскал там портрет Достоевского и спросил:

— Похож?

Льву Николаевичу не довелось с ним встретиться, но он много слышал о нем от Страхова. Я сказала ему, что когда я расспросила Страхова, кого он больше любит, Толстого или Достоевского, — он не задумываясь сказал: „конечно, Толстого“.

— Да за что же он мог любить Достоевского? — с удивлением спросил Ге.

— Ну, как же, единомышленники, — сказал Лев Николаевич.

Заговорили о „Братьях Карамазовых“, и Лев Николаевич сказал, что Алеша непременно ушел бы из монастыря. Я слыхала от приятельницы Достоевского о предполагаемом продолжении Карамазовых и сказала:

— Вы правы. В следующей части предполагалось падение Алеши.

Лев Николаевич и Ге бегло переглянулись, и я поняла, что им было дико назвать уход из монастыря падением.

В течение вечера Лев Николаевич несколько раз заговаривал со мной о монахе Варнаве, причем и он и Ге называли его Вараввой. Я отмалчивалась или переводила разговор на другое. Заметив это, Лев Николаевич сказал мне очень мягко и ласково:

— Вы не думайте, что мы нарочно называем его Вараввой. Это так... А, помнится, Владимир Соловьев знал этого Варнаву и бывал у него.

Я промолчала.

Лев Николаевич спросил меня, читала ли я Герцена. („О, сколько раз!..“). А он сейчас перечитывал его и с большим удовольствием. И не потому, что внешне так блестяще и изящно, а потому, что видишь человека, которому было ясно, что делалось вокруг... И такой писатель не входит в учебники, а зубрят о Жуковском, который был за смертную казнь!

Ге с негодованием стал подсказывать, что Жуковский придумывал даже ритуал для смертной казни чуть ли не с музыкой.

— И это при таком сентиментальничании! — сказал с презрением Лев Николаевич.

Графиня шила молча, поднимая голову только затем, чтобы вдеть нитку. Дети то вертелись около нас, то выбегали на балкон или в соседнюю комнату. Пятилетний Ванечка спрашивал меня на ухо, не хочу ли я пожениться на Зандере, и сообщил, что как только он вырастет, он поженится на одной знакомой девочке.

За вечерним чаем графиня стала говорить мне о своих детях:

— Самые лучшие из наших детей — трое старших. Мы их вместе воспитывали, вместе старались, столько говорили и думали о них. Они и вышли лучше всех. Таня, Илья и Сережа.

— А Марья Львовна? — спросила я с удивлением.

— Маша, Лева добрые, но надломленные, болезненные. А эти все еще малы. И младшие знают только меня. Отца они мало и видят. Всю зиму он кормил голодающих. Целую зиму он не был с нами. Он и не входит в их воспитание. У них я одна.

Лев Николаевич слушал ее молча, как слушают шум падающего дождя, а Ге посмотрел на нее взглядом страдальца, говорящего: „Прости ей, не ведает что творит“...

Допив чай, Ванечка со всеми простился и пожелал, чтоб я его уложила. Раздеваясь, он сказал мне, что завтра утром он придет разбудить меня и мы пойдем гулять. Он сам покажет мне всё в Ясной Поляне.

Он был уже в кроватке, когда графиня пришла поцеловать и перекрестить его. Мать и сын горячо

обнялись, и, глядя на их ласки, я почувствовала, как беспокойное сердце графини крепко держится за этот последний теплый луч былого счастья. Мне снова стало жаль ее.

Мы вместе вернулись в столовую, где Лев Николаевич и Татьяна Львовна говорили с бабушкой о его произведениях. Он намеревался написать еще ряд картин на евангельские темы, но конечно не в церковном освещении.

Татьяна Львовна слушала его с сочувствием, очевидно разделяя его взгляды. Все трое много говорили о Евангелии, которое они называли „книжечкой“.

Когда Ге стал собираться на поезд, Татьяна Львовна надела шляпу, жакетку и намотала на шею шарф из испанского кружева, намереваясь проводить старика на станцию. Прощаясь, художник перецеловал нас всех и меня в том числе. Лев Николаевич прощался с ним почти так же нежно и ласково, как графиня с Ванечкой. Он просил художника передать самые теплые приветы какому-то Колечке и сказать ему от его имени то-то и то-то... Я спросила Татьяну Львовну:

— Кто это Колечка?

— Наш друг. Очень хороший человек. Сын бабушки. Он женился на крестьянке и совсем омужился.

Бабушка уехал. Лев Николаевич ушел к себе читать газеты. Мы остались вдвоем с графиней. Она рассказала мне, что когда она в первый раз встретилась с женой Ге, они взглянули друг на друга, молча обнялись и расплакались. И, продолжая

быстро шить, графиня стала говорить о том, как ей противны все эти „последователи“: сколько в них самомнения, хвастовства и притворства. Она не может, не может увлекаться этим. Дочери ей говорят: „чем же ты живешь?“ А чем жила, тем и живет. Она смотрит так: в каком положении бог поставил человека, в таком и старайся угодить ему и быть полезным людям. Если бы она была кухаркой, ей было бы незачем разыгрывать графиню. Если она графиня, зачем ей разыгрывать кухарку? Зачем лгать? Прежде они жили хорошо, честно, просто. И теперь могли бы жить так же, жить для себя и для своих детей, помогая соседям-крестьянам в их нужде. Вся жизнь графини прошла здесь, в Ясной Поляне. Здесь она носила, рожала и кормила. У нее девять живых детей. Здесь же она помогала мужу, переписывала все его работы. У него не было другого секретаря. Графиня сказала мне, сколько раз она переписала „Войну и мир“ (к сожалению я не запомнила). Из его произведений она любит больше всего „Войну и мир“, „Казачьи“ и „Детство и отрочество“. Это лучшее из всего, что он написал.

О „Крейцеровой сонате“ она говорит с отвращением („гадкое безобразное произведение!“). Теперь она уже не переписывает сочинений мужа: это делают дочери. А ей много дела с изданиями. Дом, хозяйство — тоже всё на ней. Семья большая, гостей всегда много. Жить приходится на два дома. Мальчикам надо учиться в Москве. Ради них приходится жить там зимой. А Льву Николаевичу здесь лучше. Надо все обдумать, все устроить, обо всех позабо-

титься и здесь и там. Весной они здесь жили без нее, Лев Николаевич, Таня и Маша. Графиня всё им наладила, устроила, сдала прислуге на руки и уехала спокойная за них. Получает письмо от Маши: прислугу отпустили, все делают сами, взяли себе в подмогу мальчишку из деревни. Прекрасно. Но затем приходит письмо от Тани: их обокрали до тла. Всё, всё унесли, даже шторы с окон. „Ну, что же? Пришлось опять ехать и всё снова устраивать“.

Когда графиня вышла замуж, Лев Николаевич был совсем не такой. Он любил, баловал ее, покупал ей дорогие вещи, за ботинки платил (она сказала цену). И куда, на что ей были эти ботинки? Носить их в этой же Ясной? Девушкой графиня ездила во втором классе; он потребовал, чтобы она ездила в первом; а теперь требует, чтобы она ездила в третьем. Нет, она уже во втором и останется. Зачем метаться!..

Татьяна Львовна вернулась сонная и зевающая. Мы простились с графиней и пошли вниз спать.

— Надо бы сказать, чтобы у вас там окна завели, — сказала Татьяна Львовна, спускаясь передо мной по витой лестнице, — а то Маша все там ободрала. Впрочем, мама, верно, распорядилась.

Мама, конечно, распорядилась, и мне было чудно. Засыпая я думала обо всем, что видела и слышала за день. Утром я вскочила рано, вылезла из окна и до прихода Ванечки успела и нагуляться в саду и, вернувшись в комнату, записать свои впечатления.

В восемь часов дверь моей комнаты отворилась, и кудрявый Ванечка, в чистенькой косово-

ротке, бросился сразбегу мне на шею, как старому другу.

Кузина его, Вера Кузминская, тоже рано поднявшаяся, напоила нас чаем, и вдвоем с Ванечкой мы ушли в лес. За нами побежала большая белая собака. Когда я похвалила лес, Ванечка сказал:

— Это Чепыж. Это мой лес. Это всё мое. Да, да. И земля моя.

И чтобы убедить меня, он потопал маленькой ножкой по своей земле.

„Вот тебе и Генри Джордж“, — подумала я. Позже я узнала от Татьяны Львовны, что Ясная Поляна, действительно, по разделу досталась Ванечке, как самому младшему, с тем чтобы отец и мать еще долго могли жить у него.

Углубившись в свой собственный лес, пятилетний владелец Ясной Поляны внезапно переменился в лице и, с тревогой глядя на меня, сказал:

— Дальше нельзя идти. Не надо... Там крот... Там волк... Я не пойду дальше...

Мы повернули обратно, что его сейчас же успокоило, и он сказал:

— Лучше я вам конюшню покажу и кур. Вы любите кур?

Осмотрев яснополянское хозяйство, мы зашли в гости к Агафье Михайловне, увековеченной в „Анне Карениной“. Здесь нашла нас няня, уже обеспокоившаяся о своем питомце, и мы вместе пошли домой.

— Знаете что, — сказал Ванечка, внимательно вглядываясь в меня, — ведь я уже видел вас прежде.

— Не надо врать, Ванечка, — вмешалась няня. — Ты их не видел.

— Нет, видел, видел. Давно прежде. Вот совсем, совсем такую... с такими глазами... Давно... я знаю...

— Не надо врать, Иван Львович. Никогда ты их не видел.

За завтраком Лев Николаевич спросил меня, хорошо ли я спала. А он спал плохо. Часто просыпался и все стихи какие-то в голове вертелись. Он совсем кончил свое большое сочинение и просил меня отвезти его в Москву. Он дал мне адрес Евгения Ивановича Попова и письмо к нему, прибавляя, что ему будет очень приятно, если я поближе сойду с его московскими друзьями. Все хорошие люди.

После завтрака графиня предложила нам ехать в лес за сморчками. Подали дроги, в которых разместились и дети и взрослые.

В это утро, в летнем голубом капоте и белом чепчике с черным бархатом, графиня была совсем Китти. Она была спокойна, весела и радовалась радости своих детей.

В лесу мы все разбрелись и рассыпались. Ванечке подкладывали в траву уже сорванные сморчки и, не подозревая обмана, он радостно взвизгивал при виде темного гриба.

Как я была благодарна графине за то, что она показала мне этот лес. Любуясь старыми деревьями, я думала: „Вот его друзья и вдохновители, вот его настоящая рабочая комната, в которой создались знаменитые произведения“. Мысленно переносясь

к прошлому Льва Николаевича, я вспоминала, как Левин говорил Китти: „Слишком хорошо. Ненатурально хорошо“. А Китти отвечала: „А мне чем лучше, тем натуральнее“.

В лесу было чудесно. Но когда мы вернулись домой, графиня расстроилась, встревожилась и сказала, что Лев Николаевич захворал и обедать не будет. У него жар и лихорадка. Когда в столовую вошла Татьяна Львовна, графиня обрушилась на нее:

— Это вы все ходите по больным в деревню. Там тиф.. Да, было два случая. Надо же беречь отца. Нельзя забывать, что он стар и слаб. Долго ли тиф захватить? А как он его перенесет?

— Может-быть еще и не тиф, — сказала Татьяна Львовна.

— Однако очень похоже на тиф. Жар и плохо спал. Аппетита нет. Он не будет обедать.

Лев Николаевич не обедал и за стол не садился, но все же поднялся наверх, сел на угольный диван и оттуда все время разговаривал. После обеда мы все подсели к нему, и он сказал, что хорошо и похворать, когда все так за тобой ухаживают. Его знобило, и, поглядывая на дверь в переднюю, он сказал:

— Чья это там симпатичная ротонда висит? Я проходил, подумал: вот бы закутаться хорошо.

Несмотря на боль в ногах Вера Кузминская бросилась в переднюю за своей драповой ротондой и надела ее на дядю. Лев Николаевич запахнулся, укутался и сказал: „вот как хорошо теперь“.

Указав мне глазами на номер „Нового Времени“, лежавший на столе, он попросил прочесть ему речь

Золя, вызвавшую его статью о неделании. Я читала вслух, а он изредка делал замечания, вошедшие потом в статью. Он вообще не соглашался с Золя и говорил, что большая ошибка принимать так называемую энергичную житейскую деятельность за силу, тогда как, напротив, такая суетливая деятельность есть большей частью признак слабости, покорности, иногда это просто заражение... Он привел несколько примеров такой суетливой деятельности, которая усыпляет человека вместо того, чтобы пробуждать его, что самое важное и главное.

Потом мы говорили о романах Золя и его героинях, и Лев Николаевич стал говорить о женщинах вообще. Он сказал, что у нас неправильно стоит женский вопрос.

— Нельзя из водовозной лошади сделать скакуна. А у нас хотят именно этого. Теперь женщины забирают страшную власть. И не власть Евы и Клеопатры, — это всегда было, — а забирают власть своим вмешательством в дела. Это очень нехорошо. (На-днях Лев Николаевич видел журнал, издаваемый женщиной, американкой, кажется. Он был поражен и претензией, и пустотой, и бездарностью этого журнала: „И ведь воображает, суетясь и крича о себе, что делает нечто полезное, нужное. А не видит, что берется за то, что ей не под силу!“).

Когда вечером я спустилась в комнату Марьи Львовны, чтобы собрать мои вещи, Татьяна Львовна постучала ко мне и вошла с объемистой рукописью.

— Папа спрашивает: не затруднит вас отвезти это в Москву?

— Господи! Да для него я готова в преисподнюю!
Татьяна Львовна засмеялась и сказала:

— Ну, смотрите, он этого и потребует.

Она дала мне рукопись „Царства божия“ и письмо к Евгению Ивановичу Попову, которому я должна была передать ее.

— И папа просит его сейчас же уведомить нас о том, что рукопись получена.

Я стала бережно заворачивать новое произведение Льва Николаевича, а Татьяна Львовна, присев на стул, сказала мне решительно:

— А теперь, мадам, скажите мне, зачем вы вышли замуж?

— Как или зачем?

— И то и другое.

Я стала говорить ей то немногое, что могла сказать по этому поводу.

В дверь заглянула Вера Кузминская:

— Я не мешаю? Вы секреты говорите?

— Пожалуйста. Секреты уже кончили.

Татьяна Львовна спросила меня еще, не действует ли на меня неприятно то обстоятельство, что они не православные.

Я подумала и сказала искренно, что я чувствую себя у них так хорошо, как давно себя не чувствовала, что все, что я пока у них слышу и вижу, мне по душе и не оскорбляет моих верований. Притом я должна сказать, что держусь пословицы: „Своей веры держись, чужой не хули“.

— Вы религиозны, это хорошо, — сказала Татьяна Львовна. — В человеке без религии есть всегда что-то однобокое, какая-то односторонность. Я вас

спросила об этом, потому что есть лица из православных, которых мы возмущаем. Например, Сергей Рачинский (тот, у которого школы) писал, что всё, что творится в Ясной Поляне, возмущает его как дикая оргия...

Я подумала и повторила, что пока меня ничто не возмущает.

— Я вижу и чувствую, что Лев Николаевич не разделяет моих верований. Но что ж из этого? Как мне не любить Льва Николаевича, которым я восхищалась с тех пор, как начала читать?

Меня перебила Татьяна Львовна:

— Мы были православными. Но и тогда меня всегда неприятно поражали слова: „христолюбивое воинство“ и эти „враги и супостаты“. И потом как это можно молиться при всех, когда ясно сказано: „войди в свою клеть...“

Я промолчала, а Татьяна Львовна встала и, пытаясь заглянув мне в глаза, сказала:

— Ну, я даю два года срока вашему православию. Через два года от него ничего не останется. Вы слишком искренний человек, для того чтобы поддерживать эту религию лицемерия.

Тут прибежал Ванечка, говоря:

— Мама просит вас чай пить. Мама очень рада, что мой брат Илья приехал к нам на велосипеде. Она ужасно рада. Пойдемте же чай пить.

Лев Николаевич сидел уже в уголку на диване, а за столом подле графини сидел ее второй сын Илья, напоминающий отца и ростом и фигурой.

Лев Николаевич стал учить меня, как доехать до Попова, в какие конки садиться и т. д. и т. д.

Потом спросил, что я читала последнее время. Я ответила, что читала Карлейля. Лев Николаевич читал только „Sartor Resartus“ и биографию Карлейля: по биографии он нехорош, да и статьи его холодны и не увлекают; у него был такой неприятный характер, что жена его была очень несчастлива и говорила своей подруге: „Никогда не выходи за знаменитого человека“.

Кто-то из детей спросил графиню: что она скажет — выходить ли за знаменитого?

Графиня ответила не без гордости:

— Не могу сравнивать. Не была за незнаменитым.

Все простились со мной очень ласково, а графиня сказала:

— Вы приезжали познакомиться, теперь приезжайте по дружбе.

Татьяна Львовна проводила меня на станцию.

Я сдала в Москве рукопись „Царства божьего“, познакомилась с Иваном Ивановичем Горбуновым и его женой, съездила в Черниговский скит к старцу Варнаве и вернулась к своим в Павловск. Меня спрашивали: „кто же произвел на тебя более сильное впечатление, Толстой или Варнава?“ И, не дожидаясь моего ответа, сами решали: „Толстой“.

Лесков написал мне вскоре из Меррекюля, что он получил от московских друзей рукопись „Царства божия“ и приглашает меня, мою подругу Юшкову и Любовь Яковлевну Гуревич приехать к нему для чтения этой рукописи. Он прибавлял, что ждет к себе Хирьякова и Меньшикова, с которым я не была знакома.

„Читать большое сочинение Толстого раньше всех в России, — писал Лесков, — и читать его в такой компании и с таким многохитростным критиком, как Меньшиков, — это превосходно и для всех нас преполезно. Такие трудные вещи так и надо читать, чтобы не увлечься в одну какую-нибудь сторону“.

Мы съехались в Меррекюле, познакомились, прогуляли у моря и почитали „Царство божье“. Содержание его сводилось к следующему:

Человечество выросло из своего общественного государственного возраста и вступило в новый.

Все государственные учреждения вредны. Все власти злы. Надо уничтожать государственное насилие, власть злых над добрыми. Революционеры борются извне с правительством. Христиане не борются, но изнутри разрушают все основы правительства: присягу, подати, суд и войско.

Церковь и наука не нужны и вредны, так как поддерживают лицемерие жизни общества.

В октябре того же года я вторично поехала к Толстым. Татьяна Львовна с учащимися братьями, Андрюшей и Мишей, была уже в Москве. Разыскав дом Толстого в Хамовниках, я позвонила. Я застала в столовой Татьяну Львовну, тетку ее Татьяну Андреевну, Андрюшу, Мишу, их гувернера, Павла Петровича, и молоденького Оболенского, внука Льва Николаевича.

Татьяна Львовна была весела, элегантна и жизнерадостна. Она попеняла мне, что я нарочно еду в Ясную, когда ее там не будет. Вслед за мной позвонили еще два гостя: художник Пастернак и Иван Иванович Горбунов из „Посредника“. Все

перешли из столовой в заново отделанную комнату Татьяны Львовны, где и просидели целый вечер не работая, а болтая.

Татьяна Львовна между прочим сказала мне о Маше (и на лицах гостей я прочла, что и они что-то знают).

Когда я встала прощаться, Татьяна Львовна вышла в переднюю проводить меня, любезно жалуясь на то, что не успела и поговорить со мной как следует. Мы уговорились, что на следующее утро она заедет ко мне в гостиницу. Я вызвалась отвезти в Ясную нужную там керосинку, а из Ясной привезти Татьяне Львовне ее теплые вещи.

Я была уже у выходной двери, когда она снова меня окликнула:

— Л. И., а ведь это скверно, что я вам на Машу насплетничала.

— Что же вы насплетничали? Я ничего не знаю.

— Она сама вам скажет. Она скажет.

На следующий вечер, с керосинкой Толстых в объятиях, я подъезжала к знакомой мне гостинице Чернышева. Попросив с вечера нанять мне извозчика, если можно старого Трофима, я ранехонько залегла спать, благо в гостинице царила тишина. Но спала я недолго. Меня разбудили хриплые мужские голоса за стеной:

— Снова бубны скажем.

— Скажите: я поддержу.

— Две пики! Я — пасс! Пасс! Пасс!

— Черви!.. Без козыря!.. Я — пасс!.. Пасс! Пасс!

Очевидно эта музыка предстояла надолго. В коридоре тоже слышалась топотня. Что-то на ходу раз-

били у самой моей двери. А издали доносилось еще от времени до времени завыванье визгливого хора: „Зацелуй меня до смерти“ и „Письмецо мне паскарей...“

Я взглянула на часы. Несмотря на поздний час на улице с грохотом проносились пролетки. Тула бодрствовала и веселилась. Мне показалось, что эти завывающие цыганки, эти винтеры со своими бубнами и пиками и есть тот фон, на котором еще ярче выступает образ человека, к которому я еду. Может-быть, сейчас по всей России играют, винтят и поют цыганки, как в дни Ноя, когда ели, пили и женились; а старик захотел „царства божия“.

Когда утром я выглянула в окно, всё кругом было бело от выпавшего за ночь снега. Лакей сообщил мне, что Трофим скончался, но другой извозчик ждет меня у подъезда. Поехали на колесах, парой, с колокольчиком. Снег вился и крутился, попадая мне в рот и в глаза, и таял на кожаном фартуке колясочки. Все кругом было бело, мокро. Однозвучно гремел колокольчик...

Выехали мы, вероятно, очень рано, потому что в девять часов я была уже в Ясной. Поднявшись по лестнице, я наткнулась на укутанную одеялом Сашу. Она была повязана белым платочком и стремительно перебежала в другую комнату, но на бегу успела сказать мне, что у нее „свинка“ и новая гувернантка. Последняя не замедлила предстать вслед за Сашей в образе француженки средних лет. Mademoiselle Détra сообщила мне, что Сашину комнату необходимо проветрить и что графиня в столовой пьет кофе.

В столовой я застала графиню с дочерью и племянницей. Бледная, тоненькая Марья Львовна, с выразительным лицом, напоминающим лицо отца на портретах молодости, молча пожала мне руку. Лев Николаевич тоже вышел к чаю и рассказал, что он спал и слышал во сне колокольчик, проснулся, а колокольчик все звенит... Он спросил: „что это“? И ему сказали, что Л. И. приехала.

За окном снег продолжал крутиться, падал крупными хлопьями. А у самовара было так тепло и уютно. И я была так рада, что я снова с ними.

Когда Лев Николаевич и обе девицы пошли писать, я хотела идти за ними; но графиня удержала меня при себе наверху. Мы сели на угольный диван и принялись обе вязать одеяло (в этот раз я захватила с собой работу). Милый Ванечка сидел с нами и тоже усердно вышивал по канве желтые и красные крестики. Я спросила его, что́ это будет. Он, хитро и нежно посмотрев на меня, сказал: „потом скажу“. Слез со стула и начал шептать что-то на ухо матери. Графиня сказала:

— Это будет вам сюрприз. *Essuie-plumes*. Зная, как вы любите его папá, он желает сделать вам *essuie-plumes* из рукава старой блузы папá; я ему дам лоскутки, а это будет верх.

Пришел Лев Львович, худой и бледный. Очевидно Самара мало помогла ему. Он поговорил с нами, но когда графиня начала рассказывать о его литературных произведениях, он сказал ей:

— Вы знаете, я не люблю, когда об этом говорят, — рассердился и ушел.

Графиня стала спрашивать меня о Татьяне Львовне и Татьяне Андреевне. Она очень хвалила обеих. Сестра — ее друг. Всю жизнь они были близки, все переживали вместе, не разлучались, как пара в дышле. Потом она спросила меня:

— А вы серьезно хотите писать о толстовцах? Кого же бы вам показать? У нас сейчас Попов, (не знаю уж, как он вам покажется), потом еще Хохлов и Леонтьев; один у нас, другой у Марьи Александровны... Вот, впрочем, кого вам надо показать: Марью Александровну Шмидт. Если завтра будет хорошая погода, я сама свезу вас к ней. Она была классной дамой в одном из московских институтов, но потом увлеклась сочинениями Льва Николаевича, всё бросила и живет теперь здесь, в Овсянникове, носит дрова, топит печи, летом работает на огороде. Кому это нужно? Теперь она совершенно бесполезный член общества. А тогда приносила пользу тридцати девочкам, вверенным ее заботам.

Когда собрались к обеду, показались Хохлов и Леонтьев, издали молча поклонившиеся графине. Потом вошел Лев Николаевич в сопровождении красивого толстовца, в серой блузе с кожаным пояском. Ванечка, садясь подле меня, спросил: „Вы ветарьянка? Я—ветарьянец“.

Услышав это, графиня сказала:

— Ты, Ванечка, будешь кушать то, что велит мама. Что мама тебе даст, то ты и скушаешь.

В ту же минуту с другой стороны m-lle Détra поставила перед графиней полную тарелку бульона, говоря:

— Саша demande de la soupe végétarienne!

Бедная мама!..

За столом Лев Николаевич говорил о патриотизме. Его очень возмутили тулонские манифестации, и он писал статью по поводу их. Флегматичный Попов давал ему изредка реплики, а Хохлов и Леонтьев слушали молча, поднимая глаза на Льва Николаевича пока он говорил и опуская их в тарелки, когда он умолкал. Марья Львовна сидела безучастно, точно мысленно отсутствуя и почти не ела. Я заметила, что она дичится меня и точно прячется. Татьяна Львовна была гораздо экспансивней и приветливей. Лев Львович к столу совсем не пришел. Он обедал отдельно.

Лев Николаевич спросил меня о чтении „Царства божия“ у Лескова.

— А разве Меньшиков не написал вам об этом?

— Нет, он ничего не писал мне.

Тогда я рассказала о письме Лескова и о его восхищении работой Льва Николаевича.

— А какое впечатление произвел на вас Меньшиков? Вы читаете его статьи в „Неделе“? — Лев Николаевич спросил меня и о молодом священнике Григории Петрове, которого я познакомила в Меррекуле с Лесковым. Лев Николаевич заметил: „интересно, что священник сказал“.

Этого я не могла сообщить ему, так как Григория Петрова еще не встречала после чтения.

Встав из-за стола, все сгруппировались в уголочке, и Лев Николаевич стал спрашивать меня о моей поездке к о. Варнаве. Потом он рассказал мне, как сам он ходил в крестьянском платье в Оптину пустынь.

Я сказала, что нужна вера; а у Льва Николаевича, повидимому, нет ее. В его сочинениях я встречала такие определения веры: „вера — воображение“, „вера — сумасшествие“... Разве вера — сумасшествие?...

Он спросил, читала ли я „Robert Elsemere“ Н. Ward, и советовал прочесть:

— Очень хорошо. Драма жизни верующего мужа с неверующей женой.

Потом Лев Николаевич сказал:

— А вот я уж теперь совсем не могу писать беллетристики. Ну, как я буду рассказывать, что шла по Невскому дама в коричневом платье, а она никогда там и не шла! Не могу уж этим заниматься, совестно как-то... А то еще так называемые исторические повести. Про даму в коричневом платье соврать еще куда ни шло—все равно ее не было; а ведь тут берут личность, действительно существовавшую, и рассказывают, что она говорила то, чего она никогда не говорила, что она делала то, чего никогда не делала. Ну, зачем это?

Слыша, что, говоря между собой, они беспрестанно упоминают каких-то темных, я спросила: „а кто эти „темные“?“

Вера Кузминская сказала:

— Вы их называете толстовцами, а у нас это слово не в ходу. Мы просто говорим „темные“, „темнота“...

— В противоположность чему же? Светлым или светским?

— Светским, светским, — сказал с улыбкой Лев Николаевич, — так что по грамматике правильнее было бы сказать: темские.

Когда Лев Николаевич ушел к себе, Марья Львовна взяла гитару, и обе девицы стали петь цыганские романсы: „Не для меня придет весна“, „Ночи безумные“ и др. Лев Львович сел один обедать под это пение. Он носил толстовскую блузу, но по болезни разрешал уже себе мясные супы и рябчиков. Графиня заботливо поглядывала на него, пока он кушал, и видимо страдала, не зная, чем ему помочь и чем ему угодить. Вечером Лев Николаевич опять сидел с нами, и мы говорили об Амиеле, которого Марья Львовна переводила для „Северного Вестника“. Графиня принесла французский подлинник и стала читать нам свои любимые места. Марья Львовна переводила выбранное отцом. Лев Николаевич говорил, что лучшие книги — это хорошо сделанные подборки из книг, выписки того, что должно быть сохранено. Как простая пища для тела, так и для ума хороши простые книги.

Ночевала я в комнате Татьяны Львовны, на ее турецком диване. Утром в доме поднялась тревога. У Саши болела голова и повысилась температура. Графиня почему-то очень боялась скарлатины. Сашу уложили в постель. Лев Львович тоже чувствовал себя скверно и решил пролежать несколько дней в постели, как кто-то ему посоветовал.

Вера Кузминская вызвалась съездить в Тулу за доктором. Марья Львовна тихо и неслышно сидела подле больной Саши. Я спросила ее:

— Можно мне посидеть с вами?

— Если вам не скучно, — тихо ответила она.

Саша не спала, но лежала в жару, молчаливая и вялая. Мы разговаривали шопотом. Я сказала

Марье Львовне, что, еще и не видя ее, я всегда ожидала, что она будет мне ближе всех в их семье.

— Едва ли, — сказала она, — так как вы уже подружились с Таней.

— А это исключает возможность подружиться с вами?

Она усмехнулась и сказала, что они все ужасно ревнивы. Но с этой минуты она стала заметно доверчивей и откровеннее. Она призналась, что боится, как бы я не вздумала описать ее. Ей говорили, что я буду писать о толстовцах.

Я успокоила ее на этот счет. Саша задремала. Пришла Детра и сменила нас. К завтраку Лев Николаевич вышел с Поповым, на которого графиня поглядывала не совсем довольными глазами. Я подумала, что ее, вероятно, раздражает то, что они отвлеченно беседуют о патриотизме, в то время как дочь ее заболевает такой ужасной болезнью, как скарлатина. До патриотизма ли тут? Графиня еще не сердилась, но казалась готовой рассердиться.

А Лев Николаевич говорил, что патриотизм — чувство не только не высокое, но глупое и безразличное. Для правительства патриотизм есть орудие для достижения корыстных целей, а для управляемых — это отречение от человеческого достоинства, от разума и совести и рабское подчинение власти.

От завтрака до обеда я сидела у Марьи Львовны и усердно переписывала с ней „Тулон“. Евгений Иванович пришел помогать нам.

Потом к нам зашел Лев Николаевич в тулупе и рукавицах, с топором за поясом. Он шел подчищать лес и попенял нам, что мы не идем на воздух: „Снег

перестал, и на дворе так хорошо!“ Марью Львовну вызвал к себе Лев Львович. Вернувшись от него, она сказала:

— Лева просит, чтобы вы не думали, что он затворился, потому что вы здесь. Напротив, он вам очень рад. Он просит, чтобы завтра перед отъездом вы зашли к нему, предупредив его заранее. Тогда он встанет и оденется. А наверх идти он не может. Ему там тяжело.

Марья Львовна снова села за работу. Мы то писали, то разговаривали. Евгений Иванович усиленно рекомендовал мне вегетарьянство, эту первую ступень толстовства. Он утверждал по собственному опыту, что вегетарьянство удивительно благотворно влияет на характер и на настроение.

Собирались мы было пойти в лес, но почему-то не пошли. Я опять сидела с графиней и вязала одеяло. А она рассказывала мне о своей молодости и о своем романе с мужем, так похожем на роман Китти и Левина. Их объяснение мелками на картонном столе Лев Николаевич увековечил в „Анне Карениной“. Это все так и было, совсем так, только слова были другие. Как она могла тогда понять, что он спрашивал, она и сама не знает.

Перед обедом Вера Кузминская привезла из Тулы доктора. Он прошел прямо к Саше и не нашел у нее ничего, кроме свинки. Посоветовав оставить ее в постели пока не спадет температура, он пошел в столовую обедать. Я сидела за столом между Львом Николаевичем и Ванечкой. Доктор сел против нас. Он говорил с Львом Николаевичем почти-тельно, не без робости и волнения. Когда я расска-

зала о только-что виденной мной в Петербурге гигиенической выставке, Лев Николаевич спросил:

— А было ли там показано, сколько часов в день человек должен трудиться для поддержания своего здоровья и сил? Очень важно знать, сколько часов человек должен работать для развития и укрепления своих сил.

Они говорили много интересного о гигиене труда, и доктора видимо радовал этот разговор. Хохлов и Леонтьев сидели по-вчерашнему, храня безмолвие. Попов тихо разговаривал со своей соседкой по столу, Верой Кузминской. Марья Львовна казалась печальной и усталой. После супа она встала и сказала:

— Я не хочу больше есть.

Графиня при всех сделала ей выговор:

— И Ванечке не позволяют вставать из-за стола до конца обеда. А тебе это тем более не пристало.

Лев Николаевич тоже неодобрительно вскинул на дочь свои необыкновенные глаза и сказал довольно сухо:

— Что это у тебя такой убитый вид?

Марья Львовна сделалась еще печальнее, но все-таки встала и ушла. Евгений Иванович невозмутимо ел манную кашу. Хохлов и Леонтьев пили квас. Доктор рассказывал уже тульские новости, но в атмосфере чувствовалось что-то грозное. Я не знала, кем недовольна графиня. Может-быть и мной, а может-быть тихим Евгением Ивановичем. Накануне еще она жаловалась мне на то, что он сидит целыми днями у Марьи Львовны, стесняя всех тех, кому нужно пройти мимо этой двери, и зовет ее Машей...

„Какая она ему «Маша»?... Он свою жену бросил, чтобы жить более совершенной жизнью. Ну и пускай себе живет совершенной жизнью только по-дальше от них“.

Обед кончился. Я стояла еще подле графини, когда к ней подошел Евгений Иванович и заявил, что уедет сегодня вечером. Мне очень хотелось пойти к Марье Львовне, но я боялась помешать ей. Я видела, что у нее на душе что-то нелегкое. Я подошла к Саше, села к ней на кровать, и мы стали играть в хальму. Вскоре Ванечка вызвал меня от Саши, говоря: „Знаете что? Моя тетя Таня приехала. Вы знаете тетю Таню?“

Татьяна Андреевна приехала только на одну ночь, с тем чтобы на следующее утро ехать дальше осмотреть какое-то имение.

Графиня обрадовалась сестре и просияла. Они стали оживленно рассказывать друг другу о Москве, о Петербурге, о своих делах и о своих детях. Наговорившись, обе пошли вниз проведать Льва Львовича.

Марья Львовна попросила меня сыграть что-нибудь. Пока я играла, Вера и Марья Львовна стояли подле меня у рояля, обмениваясь улыбками и намеками. Вера точно над чем-то посмеивалась, чем-то поддразнивала Марью Львовну, которая только добродушно улыбалась.

Я еще играла, когда дамы вернулись от Льва Львовича. Татьяна Андреевна успокаивала сестру, говоря:

— Да нет же, это пустяки. Все это пройдет. Он выглядит лучше, чем я ожидала. Ну, хочет по-лежать, пусть полежит. Отдохнет.

Графиня благодарно взглядывала на сестру близи руками черными глазами. С заверением доктора в том, что у Саши не будет скарлатины, с решением Евгения Ивановича уехать, а главное с приездом Татьяны Андреевны — атмосфера совсем прояснилась и всем стало легко.

После вечернего чая Лев Николаевич играл в шахматы с Татьяной Андреевной, а девицы пели свои дуэты. Графиня сидела с работой вблизи Льва Николаевича, и по лицу ее видно было, как ей приятно, что муж ее в обществе близких ей лиц, а не со своими „темными“, затемняющими ей жизнь.

После нескольких партий в шахматы Татьяна Андреевна тряхнула стариной и что-то спела, аккомпанируя себе на гитаре. Вера Кузминская играла в хальму с отъезжающим NN.

NN простился и уехал. Марья Львовна пошла вниз доканчивать свой перевод. Лев Николаевич тоже ушел к себе.

Мы остались вчетвером, и тут графиня стала свободно изливаться свою душу. Она сказала, это эти „темные“ совсем как та пакость в сказке Льва Николаевича, которую мужик стряхнет, а она, смотришь уж в другом месте показывается. И что же это в самом деле? — Когда она была молода, Лев Николаевич ревновал ее ко всем и рад был всех выпроводить из дому. А теперь, когда дочери выросли, он сам навел в дом всех этих... Что за дружба такая! „Таня, Маша, Таня, Маша!“ ... Какие они им „Таня, Маша“!

— Нет,—говорила Татьяна Андреевна. — Нет, ты не права. Ты не должна разгонять его гостей. Ты обязана доставлять ему приятное общество.

— Ты ошибаешься, если думаешь, что я кого-то разгоняю. Нет дня и ночи, чтобы кого-нибудь из них здесь не было.

— Но ты не должна и выказывать им свое неудовольствие. Раз он желает...

— Вот то-то и дело: желает ли он. Ты спроси-ка его: желает ли он... Я ведь молчала. Я думала: „NN ему нужен. Он не уедет, пока они не кончат перевода Лаодзы“. И я молчала. А вчера я с ним поговорила. Я ему говорю: „Раз NN тебе нужен...“ А ты знаешь, что он сказал? Он сказал: „Ах, он мне так тягостен“. Ну, вот. А ты думаешь, что это все я. Мне, конечно, не нравилось его торчанье у Маши. Что же это будет? Сегодня один, завтра другой!..

Тут почему-то заволновалась и Вера и с сердцем сказала:

— Ах, уж выходила бы она за того, за своего.

Мне стало неловко присутствовать при таких интимных разговорах, и я заявила об этом, желая уйти. Но графиня сказала:

— Вы несколько нас не стесняете. Ведь мы живем как под стеклянным колпаком.— Да скрывать и нечего.

Вера Кузминская продолжала нервно высказывать какие-то свои соображения, но Татьяна Андреевна подняла ее на смех, говоря:

— Какой вздор! То, что ты говоришь, только доказывает, что ты решительно ничего не понимаешь. В Маше просто говорит ее молодость. Все мы проходим через это. И ничего тут нет необыкновенного.

Когда мы разошлись, я не утерпела и постучала к Марье Львовне.

— Можно?

— Войдите!

Она сидела в своей скромной комнатке и при свете небольшой лампы дописывала Амиеля. На комодѣ я увидела несколько синих тетрадей, накрест перевязанных веревочкой. На ярлыке верхней тетради была надпись: „Мой дневник. Прошу не читать“. Я умилилась и подумала: „можно ли тревожиться за девушку, которая, написав на своем дневнике „прошу не читать“, верит, что и будет по ее просьбе?“

— Я не мешаю вам?

— Нет. Я уже дописываю последние слова.

Дописав их, она внимательно и ласково заглянула мне в глаза и спросила:

— Ругали меня?

— Нет. Но говорили о вас что-то мне непонятное.

Она положила перо и стала серьезно и просто рассказывать мне, что этим летом она влюбилась в Х. Она сама этого не ожидала. Но они каждый день виделись, проводили много времени вместе у Марьи Александровны. Словом, полюбили друг друга и решили пожениться. Но когда она сказала об этом своим, все почему-то ужасно восстало. И даже папá. Пришлось отказать. Теперь и тот на нее зол. И перед всеми-то она виновата. Это очень тяжело.

В доме все уже спали, а мы долго-долго еще сидели вместе и беседовали.

На следующее утро я присутствовала на занятиях Марьи Львовны с деревенскими ребятами

в ее маленькой комнатке. Ванечка учился у нее вместе с ними и усердно писал буквы карандашом. После класса и завтрака мы втроем ушли в лес. Ванечка был очарователен в своем тулупчике, шапочке и рукавицах. Он был очень похож на Марию Львовну и лицом и взглядом. Такой же хрупкий, чистый, нежный, добренький.

День был морозный и солнечный. Мы пошли в знакомый мне Чепыж. Чистый снег уже хрустел под ногами. Ванечка смеялся, резвился и прыгал, и не боялся ни крота, ни волка.

Я рассказала Марье Львовне о том, как Ванечка сообщил мне о своих правах на Ясную Поляну, и шутя спросила его:

— А снег тут тоже твой?

Ванечка мудро ответил:

— Снег ничей и ничего не стоит. Растает — и ничего не останется.

Мы зашли втроем в гости к Льву Львовичу. Одетый в толстовскую блузу, он ждал нас сидя в кресле. Перед нашим приходом он читал Платона во французском переводе. Отложив книгу, он стал говорить, что накануне домашняя атмосфера была для него слишком тяжелой. Он рад, что я сама все это видела, а летом бывает еще хуже. С одной стороны губернаторы, с другой — „темные“... Путаница какая-то, что-то удручающее и нелепое.

Лев Львович сказал, что он разделяет взгляды отца и разделяет их не потому, что он его сын. Нет, если бы он был Ивановым, грамотным сыном извозчика, он думал бы то же самое.

Пришла графиня, взяла Ванечку на руки и стала рассказывать ему сказки. А мы продолжали беседовать. Лев Львович сказал, что на его вопрос отцу: „что́ делать, чтобы поднять мужика“,—Лев Николаевич сказал:

— Надо стать ниже его, надо подлезть под него, только тогда поднимешь его.

Я заметила: „Нам ли поднять мужика? Дай бог нам подняться до него. У него есть терпение и смирение, какого не найдешь у избалованных людей обеспеченных классов“. Вошел Лев Николаевич. Не записала того, что он говорил по этому поводу, но помню, что он находил крестьянскую жизнь достойнее, разумнее, основательнее жизни интеллигенции. У последней идеалы высокие, а жизнь подлая, а у народа наоборот. После этого мы говорили еще о том, чем бы заняться Льву Львовичу. Я советовала ему писать. Он напечатал уже один рассказ в „Неделе“ и писал еще теперь что-то для „Северного Вестника“. Лев Николаевич не совсем был уверен в его таланте, но сказал: „Это было бы хорошо, потому что у него есть содержание“.

Когда мы поднялись в столовую, Хохлов и Леонтьев уже стояли там в ожидании обеда. Графиня издала показала мне на них, говоря:

— Вы видите, от них как от козлов ни шерсти ни молока. Стоят и молчат. Их даже описать нельзя.

Ванечка снова громогласно заявлял, что он вегетарианец. Саша снова присылала просить „de la soupe végétarienne“. Ей было лучше. За столом много говорили о Руссо, сочинениями которого Лев Николаевич увлекался и восхищался с пятнадцати

лет. После обеда я рассказала, как я ходила с овдовевшей кузиной по присутственным местам и что мы там видели. Льву Николаевичу понравился рассказ о том, как в комнату, в которой зевали, дымили, празднословили и пили чай вялые, ленивые чиновники, вдруг вбежали два здоровых мужика с мешками и корзиной и принялись проворно, не теряя ни секунды, подбирать брошенные уже ненужные бумаги, которых было ужасно много.

— Стойте, стойте, — сказал мне Лев Николаевич. — Это надо написать. А расскажете, так уж не напишете.

Когда он ушел к себе, графиня стала говорить о том, как она была рада приезду Татьяны Андреевны. Я сказала, что Татьяна Андреевна дает ей хорошие советы. Графиня заметила: „Да, советы давать легче, чем самой поступать как следует. Я могла бы всем давать советы“.

Она прибавила, что у нее есть другая, старшая сестра, которая дает ей совсем другие советы. Та говорит так: „Ах, он хочет, чтобы ты сама стряпала? Стряпай, стряпай. Накорми его своей стряпней. Его стошнит, и он больше твоей стряпни не захочет“.

— Нет, советы советами, но всякий все же поступает по своему чувству, по своей совести.

Вечером я пошла вниз укладываться. Графиня принесла мне теплые вещи Татьяны Львовны; Лев Львович—письмо для передачи брату Андрею. Милый Ванечка усердно помогал мне укладываться, старался быть полезным и собственноручно стягивал ремни. Лев Николаевич и Марья Львовна тоже пришли ко

мне и разговаривали стоя, так как в комнатке было очень тесно. Я спросила Льва Николаевича, не будет ли каких поручений.

А бываю ли я в Публичной библиотеке? И знакома ли с В. В. Стасовым?

Он дал к нему поручение.

Марья Львовна одела шапочку и скромное черное пальто и поехала проводить меня. Одевалась она беднее и проще, чем Татьяна Львовна. Я не знала теперь, которая из них милее. Обе были мне очень по душе. Обе были благородны, серьезны, бесконечно преданы отцу.

Татьяна Львовна была может-быть умнее и даровитее, но Марья Львовна привлекала своей простотой и сердечностью.

Помню, что когда мы подъехали к рельсам, шлагбаум был спущен. Марья Львовна прыгнула на ходу, собственноручно подняла шлагбаум и так же проворно и просто вскочила на место, очевидно проделав нечто вполне привычное.

Ехали мы в темноте и всю дорогу разговаривали. На станции мы нежно простились и обещали писать друг другу.

Прибыв в Москву, я поспешила к Татьяне Львовне, которую на этот раз застала окруженной „темными“. У нее была ее двоюродная сестра, Вера Сергеевна Толстая, Бирюков, Горбунов, Е. И. Попов, Дунаев, Никифоров и какой-то сочувствующий француз. Андрюша и Миша собирались в баню с Павлом Петровичем. Они так много распространялись о славе и достоинствах Центральных бань, что я сказала им: „Что же это, вы, толстовцы, в такие дорогие

бани ходите?“ На что один из мальчиков ответил: — „Мы — толстовцы навыворот“.

Они ушли, а мы сели за стол, за самовар и угощение, состоявшее из арбуза, салата, хлеба, изюма и маслин.

Евгений Иванович Попов пропагандировал в этот вечер сырое вегетарианство. Фотография Оскарелло в костюме акробата с голыми руками и самодовольной физиономией переходила из рук в руки как реклама нового способа питания. Татьяну Львовну очень прельщало это новшество: „Какая прелесть! Ни кухни, ни чада, ни кастрюль, никакой пачкотни... И опрятно, и здорово, и естественно, и экономно. Что может быть лучше ягод, фруктов и орехов!“. Я узнала, что Лев Николаевич любит финики, а Татьяна Львовна — фисташки.

Татьяна Львовна замуж не выйдет и под старость будет жить со своей кузиной Верой Сергеевной. И будет она жить чистенько, не пачкая никакой посуды и питаясь финиками и фисташками.

Все одобряли и приветствовали новое упрощение жизни. Только Никифоров колебался и говорил:

— Позвольте. Но при такой неподготовленной пище сколько же времени у меня будет уходить на жевание? И наконец, если я целый день буду жевать зерна, ведь у меня челюсть вытянется как у лошади.

— Нет, — мягко и бесстрастно говорил Евгений Иванович. — У вас останется прежняя челюсть. А что касается времени...

Так мы беседовали и слегка спорили, кушая изюм и маслины. И всем было хорошо и весело.

По возвращении домой я нашла уже письмо от Марьи Львовны. Она просила прислать ей из „Сверного Вестника“ несколько оттисков „Неделания“ для друзей, дорожащих тем, что пишет ее отец.

Сегодня весь день думаю о вас, — писала она, — и чувствую себя под сильным впечатлением, произведенным вами. Мне что-то радостное прибавилось в жизни. Сегодня приехал Горбунов, и мы с ним ездили к Марье Александровне. Там были Хохлов и Леонтьев. Полная темнота. Полный сбор. И я пожалела, что вас не было. Было хорошо и интересно. Пока прощайте, дорогая Л. И. Я очень вас люблю.

Мария Толстая.

Следующее ее письмо было уже из Москвы:

Милая Л. И. Получила ваше письмо еще в Ясной. Там не успела ответить, а здесь было скверно на душе, и не хотелось свое дурное настроение передавать вам. Наш Лева уехал за границу и прислал из Варшавы очень бодрое, веселое письмо. Да и здесь последнее время он был бодрее. Меньшикова прочли — очень хорошо. И папá нашел, что прекрасно. Стасов все исполнил как следует.

Мы жили в Ясной удивительно хорошо с отцом вдвоем. Приходила к нам только Марья Александровна, и одно время с нами жил Леонтьев. Как всегда, когда там живем, у меня в душе восстановилось такое радостное спокойствие и полное удовлетворение своей личной жизнью. И только бы не менялось это положение, никогда бы ничего другого не стала выдумывать. Моя жизнь в той обстановке, в какой я живу, имеет оправдание только в том, что я живу в ней для отца, помогая его делам. Если бы не было отца, я не могла бы так жить, потому что никому не нужна моя жизнь здесь, и потому, когда я в этой жизни упускаю смысл

ее, — ничего не остается. Мне делается тяжело, и я начинаю метаться и искать чего-то другого, не-лепого и несвойственного мне. А в Ясной, живя с отцом и вполне нераздельной с ним жизнью, — было так хорошо, как давно не было; и это поставило меня в точку лучше всяких увещеваний. Некоторым людям помогает разбираться в жизни — думать. А мне одно помогает: жить, и вследствие лучшей жизни возникают и лучшие мысли. Здесь же, в Москве, тяжело. Жутко опять потерять себя.

Отец все еще занят „Тулоном“. „Религия“ окончена и послана немецкой переводчице, а здесь отдана Гроту в „Вопросы философии“. Пишется еще кое-что. Отцу тоже здесь тяжело от вечных посетителей, но он еще ободряет меня и ко всему приговаривает: „отлично“ — как какой-то немец, который, какая-бы гадость ни случилась, приговаривал: „отлично“. Видаем хороших людей в „Посреднике“. Они тоже ободряют и освежают своим хорошим духом. В сущности дурно, что меня так тяготит здешняя жизнь. Прежде мне было б все равно. А теперь я ослабела и просто боюсь этой жизни.

Письмо Марьи Львовны 6 февраля 1894 г.

Милая Л. И. Я давно хочу писать вам. Еще раньше, чем приехал Меньшиков, я написала вам письмо о „Зарницах“, которые положительно взволновали меня. Не писала, потому что, перечитав его, разорвала — показалось глупо. А я очень часто думаю о вас с любовью. Меньшикова я мало видела и совсем не говорила с ним в нашей толпе посетителей, но он произвел на меня очень хорошее впечатление своей скромностью, серьезностью и тишиной. Папá он очень понравился, и ему было радостно и интересно с ним познакомиться.

Пишу вам из Ясной, где мы живем: папá, Таня, я, Бирюков, Марья Александровна Шмидт, и сегодня приехал еще от Черткова Емельян Ещенко — мужик

очень умный, добрый и ласковый. Нам очень хорошо. В Москве мы последнее время измучились и устали от постоянных посетителей. В Москве невозможно оградить себя от них; да и не должно этого делать. Папа считает, что раз люди идут к нему, он должен, как только может, удовлетворять их требованиям и никак не может не пускать их к себе. Тем не менее, нам всегда хочется хоть на время дать ему время отдохнуть от людей. С этой целью мы и уехали из Москвы. Но и здесь еще не было дня без гостей, хотя здесь это совсем не тяжело и гости все — милые люди, с которыми легко и просто.

Отец все еще работает над „Тулоном“. Теперь уже эта статья теряет свой специально франко-русский смысл и вырастает в большую статью о патриотизме. Лева писал нам, что здоровье его все плохо и что думает даже скоро вернуться в Россию. Духом он довольно бодр. Ванечка пишет, что вы прислали ему свою фотографию. Пришлите и мне. Что же сказать о себе? В Москве жила суетно, загромождила жизнь разными занятиями и не оставила в душе уголка для бога, как велит Амиель. Было беспокойно и нерадостно. Здесь же мне хорошо. Опять просыпаются мысли, чувства, сознание смысла жизни. Мне, пожалуй, грустно последнее время, но серьезно и тихо.

Чудные стоят дни и ночи. Яркие, морозные, красивые. Вчера ночью мы ездили с Таней к Бирюковым на Козловку за почтой и наслаждались. Сегодня приезжает к нам Н. Н. Ге, наш большой друг, и мы опять поедem его встречать. Живем мы внизу, в комнате, где вы жили, и в следующих двух — помните? Бирюков топит печи и ставит самовар. Мы все убираем и подаем. Хохлов колет дрова; и все довольны.

Папа, как всегда, здесь очень хорошо, и он много работает и каждый день обещает, что завтра кон-

чит. Я пишу для него, учусь медицине, лечу больных; ходят люди, кто за книгой, кто за чем; приходит Параша проведать, и дни бегут очень скоро. Жаль, что надо будет возвращаться в Москву. Так хочется иногда пожить как любишь. Но это соблазн, и не в этом дело. Везде можно служить богу и не забывать его. А я часто подпадаю соблазну желания лучших форм жизни и придаю им значение. Дело — в увеличении добра в себе, а формы будут улучшаться вследствие внутреннего улучшения. Мы держимся в нашей обстановке и в теперешних формах нашей жизни нашими теперешними или прежними грехами, а распутаются грехи — распутаются и формы жизни. Я люблю простую жизнь; я люблю деревню, люблю работы, люблю животных. Меня всегда тянет к самой простой деревенской жизни. Как хорошо в „Зарницах“, когда она приходит от коров на террасу и ей хочется скорей уйти, потому что никто не понимает, что у нее на душе. Как я это знаю! Это всегда бывает так. Целую вас и от души люблю. Павел Иванович хочет приписать вам. Мы узнали на-днях, что умер Дрожжин — тот, который отказался от воинской повинности и за это был замучен в дисциплинарных батальонах, — и умер от чахотки. Удивительной духовной силы человек.

Мария Толстая.

Приписка П. И. Бирюкова:

Дорогая Л. И., я уже несколько дней живу в Ясной. Вы можете понять, как здесь хорошо. Бывает так хорошо, что хочется сказать: „построим три кущи“... Марья Львовна оставила мне пол-листка, причем строго запретила читать ее письмо, но предупредила, что прочтет мое. Какова справедливость? Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы мне позволили бывать у вас и говорить с вами. Я все боялся надоесть вам. Мне еще многое хотелось сказать вам. В последний раз, когда я был

у вас, мне помешал Слепцов. Мне хотелось просить вас не принимать во внимание суждений Николая Семеновича (Лескова) обо мне, о „Посреднике“ и о многом другом. Простите. Хотел бы вам пожелать чего-нибудь хорошего и не могу пожелать ничего лучшего, как поскорее приехать в Москву и побывать в Хамовниках. Павел Бирюков.

Я начала это письмо 6-го и кончаю 8-го. Оно очень бестолково. Ну, простите. М. Т.

В апреле 1894 года, по пути в Полтаву, я заехала в Москве к Толстым. Отворивший мне лакей заявил, что графини и дочерей нет дома. Я хотела уже уйти, но появившаяся в передней м-ль Детра удержала меня и повела в сад, к детям. Саша и Ванечка выбежали мне навстречу, а Миша сказал: „Да ведь Таня-то, кажется, дома. Только у нее голова болит. Я ей скажу“.

Я тщетно кричала ему вслед: „Не надо. Не говорите...“ — Он умчался как стрела. Через минуту меня попросили к Татьяне Львовне. Она полулежала с сильным насморком, с головной болью и нездоровыми глазами в комнате Марьи Львовны. А в ее комнате Ярошенко писал портрет с Льва Николаевича. Думая как-нибудь освободить ее от моего присутствия, я сказала, что хочу, пока нет графини, съездить посмотреть Третьяковскую галерею, которой я еще не видела. Но, услышав о Третьяковской галерее, Татьяна Львовна вскочила, заявляя, что поедет со мной. Голова у нее болит от насморка, а насморк скорее пройдет на воздухе.

Я уж не рада была своей выдумке, видя, как она поспешно одевается. Она была уже в шляпе,

когда вбежал к нам Миша, говоря, что Лев Николаевич просит нас к себе.

Лев Николаевич познакомил нас с Ярошенко, спросил, нет ли перемен в моей жизни, живу ли я попрежнему с моей матушкой, спросил об общих знакомых, о Гуревич и о ее журнале, очень благожелательно и сочувственно отозвался о Волинском (Флексере) и прибавил:

— Я не знаю, с тактом ли он держит себя в редакции, но то, что он хочет писать, мне кажется очень хорошо. (Чуть ли не шло дело о развенчании старых критиков).

Осмотрев Третьяковскую галерею, мы вернулись домой. Я уговорила Татьяну Львовну лечь, а сама пошла в детскую, где Ванечка стал весело показывать мне свой столик, свой велосипед и свои игрушки, приговаривая: „Как меня балуют... Как все меня балуют. Все меня балуют...“

Я сказала:

— Это оттого, что ты — самый маленький.

Ванечка согласился и, подумав, сказал:

— Да. У мамá, вероятно, уже не будет больше детей. Она-то бы и рада, да ведь больше уж дать нечего. Все разделили.

Саша говорила мало, больше слушала. Очевидно она привыкла, что все внимание, все ласки выпадают на долю маленького брата, а она остается в тени. Перед самым обедом вернулась графиня с Марьей Львовной. Она была в хорошем, светлом настроении. Теперь все тучи, казалось, были над головой Татьяны Львовны, которой притом и нездоровилось. Лев Львович

вернулся из-за границы, но продолжал похварывать.

За обедом я сидела между Львом Николаевичем и Ванечкой. Говорили о картинах; не помню, что говорил Ярошенко. Лев Николаевич признался, что не любит Васнецова. Больше всего его интересовали картины Ге, и он спрашивал меня о впечатлении, которое произвела в Петербурге новая картина: „Христос и разбойник“. Она была выставлена в квартире А. Н. Страннолюбского, и ее много смотрели. Н. Н. Ге побывал у нас, познакомился с моей матерью и сам показывал ей свою картину. Мне совсем не нравился разбойник. Оказалось, что он не нравился и Льву Николаевичу. Но ему нравился Христос. Кто-то из сидящих за столом сказал, что когда Лев Николаевич в первый раз увидал этого Христа, то заплакал. Еще кто-то сказал, что Миша умеет удивительно хорошо представлять разбойника. Мишу попросили показать свое искусство, и он сейчас же сделал гримасу, мгновенно преобразившую его красивое детское лицо в страшную рожу разбойника. Я рассказала, что Лесков был очень занят этой картиной, приобрел много снимков с нее и рассылал их всем своим знакомым. Критик Протопопов, получив такой снимок, писал Лескову, что картина Ге есть верное изображение по Матвею и Марку, у которых сказано, что оба разбойника поносят, а не по Луке, который сам дела не видал, компилировал позже других и вероподобием не стеснялся... Оба поносят. Это увеличивает трагизм положения, и становится понятнее восклицание; „Боже мой, боже мой, для чего ты меня

оставил!“ Христос умирает буквально оставленный всеми и совсем не имеет надежды сейчас же перенестись в рай и пригласить туда вежливого соседа. Он оканчивает свою эпопею любви к людям полным героизма, поносимым всеми, а его немногие друзья молчат, как и мы, страха ради иудейска...

Так думал и писал Протопопов, но сам Лесков не хотел отказываться от художественного образа „покаявшегося“ разбойника и очень интересовался тем, которого именно разбойника изобразил Ге. Лев Николаевич для своего евангелия тоже взял версию Луки.

После обеда все перешли в комнату Татьяны Львовны. Лев Николаевич снова сел в позу, Ярошенко взял кисть, а я стала читать вслух Льву Николаевичу статью из „Русского Обозрения“ о Соловьеве и Розанове. Графиня и Марья Львовна работали; дети вертелись на ковре у ног Льва Николаевича. Во время чтения тихонько отворилась дверь, вошли Бирюков, молодой Оболенский и Екатерина Ивановна Баратынская, подружившаяся с толстовцами и много поработавшая для „Посредника“ в качестве прекрасной переводчицы с иностранных языков. Она под села к графине, и когда, перестав читать, я машинально прислушалась к их беседе, Екатерина Ивановна спрашивала что-то о Саше, и я слышала, как графиня ответила ей: „я надеюсь ее выдать замуж раньше, чем ее коснется эта зараза“.

Очевидно в доме все было попрежнему. Лев Львович предложил мне пройти в сад. С нами пошли: Марья Львовна, Екатерина Ивановна, Бирюков и Оболенский. Из сада мы все зашли к Льву Льво-

вичу, который занимал во флигеле комнату с окном в сад. Комната была очень просто убрана: кровать, стол и кресло. На столе сочинения Герцена, Пушкина и сказки Андерсена.

Я заметила, что, побывав за границей, Лев Львович несколько охладел к последователям отца и говорил о них с раздражением, которого я раньше не замечала. Теперь он находил их скучными и не-сносными. „Что у них своего? — говорил он. — Это офени, книгоноши... Они распространяют книги отца и только“. И когда я заступилась за одного из них, он сказал: „Ах, полноте. Это какая-то ходячая слякоть“.

— Вот вы где, — сказал Лев Николаевич, входя с Ярошенко в комнату сына. — А мы вас в саду искали.

Он сел в кресло и поговорил с нами. Кто-то заговорил о психиатрической лечебнице, которая была за садом Толстых. Лев Николаевич рассказал, что ходил туда в гости и больные принимали его с уважением и симпатией. Он сказал, что сумасшествие — это эгоизм, доведенный до крайнего предела. Человек, живущий для других, никогда не сойдет с ума. Здоровый эгоизм не должен идти дальше инстинкта самосохранения. Дальнейшее развитие его уже ненормально. Чем больше сил в человеке, тем сильнее в нем и потребность делиться ими, служить ими другим людям. А для сумасшедших другие люди не существуют. Лев Львович остался у себя, а мы все разбрелись. Заглянув к Татьяне Львовне и увидав, что она уснула, мы с Марьей Львовной пошли в кабинет Льва Николаевича. Он понравился

мне менее, чем яснополянский, показался загроможденным креслами, но положение его в стороне от домашней суеты и сутолоки было удобно. Видно было, что и здесь, как и в деревне, Лев Николаевич был окружен неустанной заботой жены и дочерей. Всё было обдуманно в целях его удобства и покоя. Марья Львовна чувствовала себя хозяйкой в этой комнате и показывала мне и рукописи и лазейки, в которые она прятала некоторые из них.

Потом она показала мне все комнаты дома. После этого мы с ней сели переписывать „Катехизис“. „Катехизис“ этот очень интересовал меня, и мы решили, что будем говорить о религии только тогда, когда „Катехизис“ этот будет вполне закончен. Мы сидели и писали. К нам вошла графиня в боа и шапочке. Она собиралась ехать к исповеди и в баню. Наклонившись и прищурившись, она посмотрела через мое плечо что я пишу.

— „Катехизис“? Я бы не могла этого переписывать. Я переписывала всё, вплоть до критики догматического богословия. Теперь переписывают дочери. Но, конечно, у него уж нет с ними той близости, какая была у нас. Мы ведь жили вот как: одна душа, одно тело, одна жизнь. — Графиня вложила пальцы одной руки в пальцы другой и крепко сжала их: — Вот как. Одна душа, одно тело, одна жизнь! Я угадывала всё, что он скажет, знала всё, что он думал... Маша, там ваши Страховы пришли. Ты уж пожалуйста занимай сама своих знакомых. Мне нельзя не ехать. До свиданья!..

Она ушла исповедываться, а мы, дописав положенное, вернулись к Льву Николаевичу, окруженному

уже новыми гостями. С ним сидели теперь Сергей Львович, которого я видела в первый раз, два студента, братья Маклаковы, художник Касаткин и Федор Страхов с женой.

К чаю вернулась и раздумывавшаяся от бани графиня с мягкими, чисто вымытыми волосами. Татьяна Львовна встала и перешла в гостиную, прилегла на диван. Здесь с ней сделалось что-то вроде истерического припадка, над которым она потом сама смеялась. Мне было очень жаль уезжать от них, и я думала: „как было бы хорошо, если бы мы жили в одном городе“.

Следующее письмо от Марьи Львовны я получила в Полтаве.

Воскресенье, Красная Горка, 1894.

Дорогая Л. И., спасибо за доброе, ласковое письмо. Татьяна наша хоть и здорова теперь, не все слаба и как-то киснет. Завтра я одна уезжаю в Ясную и в конце недели буду ждать отца. Я должна была уехать раньше, но осталась на свадьбу одной подруги детства, которая этого желала. Сегодня венчали ее, и завтра еду. Мне даже и ехать не хочется, как прежде хотелось; мне стало все равно, потому что очень на душе грустно. Вы спрашиваете: отчего—и удивляетесь, что мне может быть грустно. Но я еще очень живу личной жизнью, и эта личная жизнь путает и мучит меня. Молюсь, чтобы освободиться от нее, и не могу. Бывают радостные периоды освобождения от личных интересов, и тогда жизнь с отцом и в отце так радостна, серьезна, значительна и легка. Но это проблески, а то живу последнее время такими земными, низменными интересами, что жутко бывает очнувшись. Увидимся, я много расскажу вам о себе дурного. Мне было очень

радостно, что вы хотите мне и о себе рассказать. Мне всегда хочется проникнуть глубже в вас, и я рада, что вы хотите открыть мне доступ и к вам в душу. Мне это очень дорого.

Лева, Таня, папа, мама и малыши — все шлют вам привет. Ждем вас теперь в Ясную. Буду в Ясной жить хорошо, строго к себе, не буду киснуть и распускаться. Это от себя всегда зависит. Пока прощайте, милая, хорошая Л. И. Нежно целую вас. Я очень жалела, что не могла вас проводить. Но я ночевала с Татьяной, мы обе не спали, и утром, когда она заснула, я боялась, вставая, разбудить ее, и так лежала, пока стало поздно. Прощайте. Спешу укладываться. Будьте счастливы.

Мария Толстая.

Через месяц, возвращаясь из Полтавы, я сошла в четыре часа утра на Козловке, оставила свой чемодан у стрелочника и пошла пешком в Ясную Поляну. На траве блестела роса, птицы робко, но радостно щебетали утренние песни. Далеко в стороне я увидела группу женщин и девушек в желтых и красных ситцевых юбках, но на моем пути не встречала ни души. Как я ни старалась идти медленно, но когда я пришла в усадьбу, там все спало, как в замке Спящей красавицы. Выбежала только ко мне большая собака Недда, как-то странно хромающая на задние ноги. Я села отдохнуть на скамейку подле дома, и она улеглась у моих ног, не сводя с меня глаз, готовая вскочить по первому моему движению. Отдохнув, я пошла с Неддой прогуляться в ближайшем лесочке, где распускались ландыши, и когда я вторично подошла с Неддой к дому, там уже работал садовник с двумя помощниками. Я села на

скамейку у крокета. Вскоре из дому вышел молодой лакей с парой вычищенных мужских ботинок в руках. Он узнал меня и, подойдя ко мне, сказал, что сейчас в доме ремонт и переделки и потому вся молодежь живет в другом доме, а здесь только граф, графиня и Татьяна Андреевна. Сообщив это, он побежал дальше, а я снова осталась в обществе хромающей Недды. От нечего делать я вынула из кармана несесер с ножницами и принялась стричь ногти. За этим благородным занятием меня застал Лев Львович, которому лакей сообщил о моем приходе. Он очень удивился тому, что я пришла пешком, сказал, что еще страшно рано, и советовал мне пойти выспаться. Он проводил меня до комнат сестер, где сдал меня на руки горничной Марье Кирилловне, с которой я была уже знакома. Через минуту я была уже у Марьи Львовны. У нее ночевали две ее двоюродные сестры, младшие дочери Сергея Николаевича. Одна из них лежала еще на диване, под одеялами, а другая уже расчесывала перед зеркалом свои длинные темные волосы. Я спросила неумытую и непричесанную, в белой ночной кофточке, Марью Львовну: „как живете?“ — Да что, — отвечала она с виноватой улыбкой. — Светлее понемногу.

Из соседней комнаты пришла и Татьяна Львовна, тоже неумытая и неодетая. Поднялась болтовня. Я тоже разделась, помылась, причесалась вместе с ними, и, напившись кофе, мы всей компанией сели за работу, которой заведывала Татьяна Львовна. Надо было внимательно сортировать переписку Льва Николаевича с разными лицами. На каждое слово, написанное рукой отца, Марья Львовна смотрела

как на святыню. Татьяна Львовна была строже и от времени до времени восклицала:

— Послушайте. Да ведь тут нет ничего решительно. Что же тут хранить? Я уничтожаю.

Она уничтожала, а Марья Львовна только выразительно взглядывала на нее.

Мы углубились в работу. Пришел Лев Львович, но помогать нам не стал, а только попенял сестрам, что они и меня засадили, вместо того чтобы дать мне отдохнуть с дороги. Когда он ушел, я спросила девиц, кто из сыновей может назваться последователем отца. „Да никто или все понемножку. Сергей Львович преклоняется перед отцом, разделяет его взгляды, но в жизнь их не проводит. Илья Львович был толстовцем, пока был женихом. Тогда и он и его невеста работали, сами чистили свои сапоги, опростились, но потом понемногу отстали. Лев Львович был самым близким последователем, помогал отцу в устройстве столовых, но болезнь его сбила; он тоже отстает с тех пор как хворает... Он даже курит теперь, что совсем уже не по-толстовски...“

Мы продолжали усердно разбирать груды писем. Татьяна Львовна что-то начинает улыбаться. Дочитав чье-то длинное письмо, она показывает двоюродным сестрам последнюю страницу. Они читают ее с улыбкой и поглядывают на Марью Львовну, которая вскакивает с места, говоря: „Что там? Что такое? Дайте, покажите!“

— После, после, — говорит Татьяна Львовна, желая помучить сестру и протягивает письмо сначала мне. Это письмо первого жениха Марьи Львовны Льву Николаевичу. Рисуя картину своего будущего

семейного счастья с Машей в крестьянской избе, он заканчивал словами: „Ребятишки наши будут играть на пороге, а ты, дедушка, будешь лежать на печи...“

Марья Львовна не хочет верить, чтобы он мог написать что-либо подобное, и говорит: „Он это написал? Да не может быть! Покажите!“.

Кузины произносят только: „наши ребятишки, ребятишки на пороге...“ — и покатываются от смеха.

По звонку к завтраку мы все идем в другой дом. Лев Николаевич встречает меня со словами: — „Ну, что? живы?.. Очень устали? Лева сказал мне, как вы пришли. Да нет, у вас совсем здоровый, бодрый вид“. — За столом меня спрашивают о полтавских „темных“: о Волькенштейне и Файнермане с Дудченко. Оказывается, что Лев Николаевич уже осведомлен обо всем, касающемся этих лиц, и я не могу сообщить о них ничего нового.

— А вы знаете, где первая жена Волькенштейна? — спрашивает меня Лев Николаевич.

— Знаю. В Шлиссельбургской крепости. — Меня спрашивают о его второй жене: какая она?

— Я ее не видела, но говорят — очень милая, красивая, интересная женщина, и его любит. Она не сочувствует толстовству мужа и терпеть не может Клопского, который у них живет, не отходит от Волькенштейна и наставляет его в толстовстве.

Лев Николаевич спрашивает о Файнермане.

— У Файнермана я была. Он живет в простой хате с женой и детьми, столярничает и довольно популярен в Полтаве.

Марья Львовна рассказывает, что когда она была еще девочкой, Файнерман представлялся ей героем, идеалом. Как-то вечером его попросили прочесть что-то. Он стал читать и упал в обморок. Оказалось, что он с утра еще не ел. Это произвело сильное впечатление на Марью Львовну.

От полтавских „темных“ я впервые узнала о тюремном священнике Гапоне, сочувствующем толстовству. Все полтавские „темные“ были с ним знакомы.

После завтрака мы все сели за общую работу, в которой принимал участие даже и Лев Николаевич: разбирали козью шерсть для какой-то работы Татьяны Львовны. За этой работой застал нас Чертков, проводивший все лето неподалеку от Льва Николаевича. Он подсел к нам, но не работал, а ждал, когда освободится Лев Николаевич.

Я видела его в первый раз, но мы уже обменялись с ним письмами по издательскому делу. За столом тон был более великосветским, чем всегда у Толстых. Татьяна Андреевна и Чертков бессознательно вносили что-то монд'ское, петербургское. Говорили о Фигнерах, о том, что они приехали в свое имение и, вероятно, будут в Ясной. Чертков сказал: „Пожалуйста, дайте мне знать, когда они к вам приедут. Я очень хочу их послушать“.

После обеда подали дроги, и я поехала с четырьмя девицами Толстыми в Овсянниково знакомиться с Марьей Александровной Шмидт. Мы застали милейшую старушку работающей на огороде. Повязанная от солнца ситцевым платочком, она копалась, согнувшись в три погибели, на своей грядке. Услышав фырканье подъехавших лошадей, она выпрямилась

и побежала нам навстречу в высоких мужских сапогах и жиденькой, прозрачной юбчонке, за которую ей попало от Татьяны Львовны.

— Так удобнее, — оправдывалась старушка.

— Не годится, милая Марья Александровна, — строго говорила Татьяна Львовна: — непристойно, непристойно. Подите, наденьте приличную юбку.

Марья Львовна сейчас же пошла ставить самовар, потом стала накрывать на стол. Когда меня назвали, Марья Александровна всплеснула руками и вскрикнула: „ах, я убегу, я убегу“. Она очень боялась, что я ее опишу. Кто-то сказал ей, будто я уже расспрашивала о ней для этой цели. И я должна была чуть не клясться, что этого не сделаю. В конце концов она смилостивилась и показала мне свой огород, после чего мы пошли в комнату и принялись мирно чаевничать, беседуя о papà и о „Царстве божием внутри нас“.

Мы очень приятно провели время у старушки, но на обратном пути нас прохватил сильнейший ливень. У Толстых были с собой дождевики, а у меня ничего не было. И я настолько вымокла, что должна была переоблачиться в одежды Марьи Львовны, пока все мое просушивалось на кухне.

На следующее утро девочки Толстые уехали. После завтрака Татьяна Львовна пошла в свою мастерскую писать свой портрет с помощью зеркала. А Марья Львовна пригласила меня сопровождать ей в обходе больных. Захватив лекарства, мы отправились в деревню и стали переходить из одной избы в другую. Серьезно больных было только три младенца; остальные страдали лихорадкой, ревматизмом

кашлем. Марья Львовна была очень мила в своей роли докторицы. Мужики и бабы, старики и дети — все относились к ней просто и дружелюбно, без тени подобострастья или заискивания. В двух-трех избах она познакомила меня с бывшими учениками яснополянской школы, теперь уже бородатыми главами семейств. Они охотно вспоминали о своей школе и говорили: „Да, нас хорошо учили. Нас ведь всему учили — и географии“.

Во всех избах были иконы и лампадки. Как ни проста была обстановка яснополянского дома, но по сравнению с жильями крестьян, конечно, она была барской и более напоминающей о жизни богачей, чем о жизни лазарей.

И видя эту смиренную и так любимую мной естественную обстановку крестьянских изб, я думала: „Как жаль, как жаль, что графиня так крепко держится за дорогое ей ею свитое гнездо. Отчего бы ей в самом деле не перейти с Львом Николаевичем в простую избу, как ему хочется. Для их отношений это, несомненно, было бы хорошо и они подали бы пример добровольного перехода с пути богачей на путь лазарей“.

Марья Львовна совершенно разделяла мое мнение. Мы обе думали, что богатство — болото и что жизнь жаворонка в поле куда милее жизни попугая в золоченой клетке. На обратном пути из деревни мы зашли к Агафье Михайловне. Старушка еще постарела за год, но была особенно в ударе рассказывать о старине. И, заслушавшись ее, мы опоздали к обеду.

Чертков опять обедал, но не помню о чем говорили за обедом. Потом я сидела у Марьи Львовны, и она

мне диктовала „Катехизис“. Он все еще не был кончен, и, помня наше решение не говорить о религии до его окончания, мы откладывали эти разговоры на будущее время. Я писала, Марья Львовна мне диктовала, а в соседней комнате, там, где я ночевала, Лев Львович играл на рояле Шопена и Шумана. Неожиданно к нам вошли Лев Николаевич и Чертков. Они искали фотографию с последней картины Ге. Фотография нашлась в комнате Татьяны Львовны. Тогда Лев Николаевич предложил нам пройти в мастерскую Татьяны Львовны посмотреть ее работу. Полюбовавшись ее произведением, мы все вышли в сад. Лев Николаевич сказал:

— Я хочу с Л. И. поговорить по секрету.

Дочери и Чертков отстали, а мы стали ходить взад и вперед по прямой дорожке от одного дома к другому. Он стал говорить мне свое мнение о „Зарницах“, сказал, что больше всего восхитился Матреной, что к описанию девической любви он был довольно равнодушен; но когда дошло дело до Матрены, он остался очень доволен. Потом он сказал, что те места, где я касаюсь серьезных жизненных вопросов слегка, между описаниями Парижа, неуместны, что такие вопросы надо или разрабатывать до самой глубины или представлять их в художественной форме. Он прибавил, что говорит это для того, чтобы быть строгим, а что вообще — прекрасно. Тон благороден, и очень хороши картины и описания. Я сказала, что описала очень наскоро. Бывало, у меня еще ничего нет, а редакционный мужик из „Северного Вестника“ сидит уже в передней

на ларе и говорит, что не уйдет, пока я не дам продолжения.

Лев Николаевич сказал: „Не давайте так торопить себя“. Затем он сказал, что я должна быть уверена в себе и идти вперед не в смысле внешней отделки, а развиваться в глубину. Талант дается не для щегольства, не для забавы. Надо смотреть, как в колодезь, в глубину жизни. Без этого нельзя писать. Писать надо как можно больше. Печатать — как можно меньше. Для того, чтобы пошла чистая вода, надо, чтобы осел весь осадок.

Я сказала Льву Николаевичу, что мне хотелось бы писать совсем маленькие рассказы христианского духа, в таком роде, как его „Два старика“ и другие. Но не уйти ведь от повседневных впечатлений жизни; а пока их не свалишь в какой-нибудь рассказ, и не удастся еще написать того, чего сердце просит.

Так мы ходили с Львом Николаевичем взад и вперед по дорожке и беседовали. Он говорил еще много хорошего о призвании писателя, о жертвах, которых оно требует, о том, как личные качества и недостатки писателя сказываются в его произведениях и т. д. Не записав в свое время его точных слов, боюсь перевернуть что-нибудь. Вместе с поджидавшими нас дочерьми и Чертковым, мы прошли из сада в комнату Марьи Львовны, где присоединился к нам и Лев Львович. Здесь мы почти всё время говорили о Ге, о „дедушке“, которого, очевидно, все в семье любили и часто вспоминали.

Ванечка пришел нас звать к чаю в другой дом и принес мне букетик ландышей из своего леса. Когда я вошла с ним в столовую, там сидела гра-

финя одна у самовара. Она стала рассказывать мне о их прежней жизни, о соседях, о знакомстве с Фетом. Потом она сказала, что Лев Николаевич никогда не изменял ей. Да, с тех пор как он на ней женился, он не увлекался ни одной женщиной. Он ее любил, но он женился на ней не потому, что полюбил ее, а потому что заметил, что опоздал жениться.

Лев Львович подошел к нам и спросил, о чем мы говорим.

— О любви, — сказала графиня.

Он пренебрежительно махнул рукой, как бы говоря: „можно же говорить о таком вздоре“. Понемножку собралась вся семья. А Чертков ушел домой.

Детр  показала нам в окно новый месяц и увела детей спать. Платье мое высохлось, и я с утра уже оделась во всё свое, кроме чулок, которых не хотела возвращать невымытыми. Я обещала Марье Львовне переслать их с кем-нибудь и вскоре вручила их в запечатанном конверте Н. Н. Страхову, который собирался в Ясную Поляну. Нащупав мягкое содержимое конверта, он спросил: „это рукоделие?“ Я мотнула головой утвердительно, и он бережно доставил „рукоделие“ по назначению.

После чая мы еще долго сидели все вместе на угольном диване, затем Марья Львовна проводила меня на станцию. Когда она уехала, было уже очень поздно. Я оставила свой чемодан сторожу, спустилась с платформы и отошла в сторону от маленькой станции. Я долго стояла недвижно, прислушиваясь к свисту коростелей и нежным звукам весенней ночи,

Подошел поезд. Я выбежала на платформу к поджидавшему меня сторожу и села в вагон 2-го класса, в котором я была совсем одна. Никто не мешал мне думать о Толстых.

Письмо Марьи Львовны 15 июня 1894 г.

Дорогая Л. И. Смерть дедушки (Н. Н. Ге) ужасно поразила нас всех, и я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что его уже нет с нами. Для меня он есть, и я чувствую его и люблю еще более, чем когда-либо, и его любовь ко мне я так же ощущаю, но уже проявлений ее не вижу никогда, а это мне ужасно больно. Милый дедушка! Ведь он был мне ближе всех моих друзей. Я всегда себе представляла, что когда отца не будет, я уйду к нему; он еще останется, и я знаю, что он принял бы меня и любил. А у любви нет смерти, это мне очень ярко представилось именно теперь.

Знаем мы о его смерти вот что: он был в Киеве, заехал к сыну Петру в Нежин, был здоров и весел и поехал домой на хутор. Приехавши, вылез из тележки и понес мешок; но стал потеть и еле шел. Вышел Колечка, взял у него мешок и понес в дом. Он заметил, что дедушка бледен, очень трудно идет и дышет. Они вошли в дом. Дедушка сейчас же сел и сказал, что ему дурно. Колечка хотел зажечь свечу, но дедушка не велел. Колечка отвел его на постель и побежал посылать за доктором. С дедушкой осталась жившая у них Попова. Пока Колечка убежал, дедушка стал кричать ужасно громко: у-у-у...

Когда Колечка вернулся, он уже смолк, и очень сознательно смотрел с одного на другого, но задыхался и уже ничего не говорил. Так он и умер через несколько минут. Удивительная смерть, и такая неожиданная! Мне всегда казалось, что ему так много еще надо здесь сделать, так много передать людям того, что никто кроме него не может сделать. Зна-

чит, так надо было, воля бога. Простите за глупое письмо, но путаница какая-то в душе и загромождение, но мне хорошо. Крепко целую и люблю вас. (2-й младенец умер вчера, 1-й жив). Мария Толстая.

21 июня 1894 г. я получила письмо от Саши и Ванечки с припиской Марьи Львовны:

Саша благодарит вас за конфеты, а на нас они навели ужас, и мы жалеем, что вы прислали их. Они конечно объелись как следует на рождение. Мне живется хорошо, серьезно и одиноко. Паскаль говорит: „Il faut vivre seul et mourir seul“ Я думаю, что иначе и нельзя, все-таки всегда будешь одинок. Папà дал теперь себе отдых и ничего не пишет. Ходит косить и пилить. У нас живет Николай Николаевич Страхов и очень всем нам приятен. С тех пор как умер дедушка мне хочется всех любить, со всеми быть в любовных отношениях, для того чтобы смерть не могла отнять у меня самого дорогого и важного — любви. Ванечка опять болен, бедненький. У него было несколько нарывов на ногах, потом расстройство желудка, а теперь беспричинный жар. Ужасно он жалкеный, и так страшно за него.

Прощайте, милая Л. И. Пишите о себе. Люблю вас.
Мария Толстая.

Письмо Марьи Львовны 3 сентября 1894 г.

Милый друг, Л. И. Не отвечала на ваше письмо, потому что все это время перемещаюсь из Ясной в Москву и обратно. Сейчас я опять с Левой в Москве, думаю завтра быть с папà в Ясной, так как мама приезжает меня заменить. Живу второй раз с Левой здесь недели на две, и мы очень хорошо ладим с ним. Теперь с нами живет Маня Рачинская, и приехали мальчишки учиться. С ними мне веселей, но Лева жалеет о нашей одинокой тихой жизни. Теперь Москва наполняется, и потому каждый вечер у меня про-

пасть народа. Я рада, но боюсь, что это мешает Леве. Папа пишет нам редкие, но превосходные письма. „Катехизис“ тихо подвигается. Любовь Яковлевна, кажется, ничего не высидела в Ясной. Перевожу Henry Georg'a „Problems Sociales“. Трудно, но интересно, не подлежит печатанию по цензурной причине. Читаю постоянно „книжечку“, как дедушка называл Евангелие, и черпаю из нее все новое и новое, точно в первый раз читаешь. Какой это источник вечный, неисчерпаемый!

Был у нас интересный малый, словак из Венгрии, „темный“. Приезжал нарочно в Ясную на неделю, чтобы видеть и узнать папá. Интересуется не блузой, а самыми важными и существенными вопросами. Рассказывал о религиозном движении у них в народе, между прочим — и о 150-ти отказах от военной службы. Отказавшихся заключают в тюрьмы и ссылают еще гораздо строже, чем у нас, то-есть не только на те годы, которые отказавшийся должен был бы прослужить, но и все те годы, которые он считается в запасе, т.-е. 12 лет. Самая близкая нам по духу секта там — это Назарены. Их убеждения почти совсем сходны с папашиными. Как радостно, что везде эти искры разгораются; а то, что их стараются потушить, — признак того, что огонь настоящий. Этот наш словак — молодой человек, кончивший курс на медицинском факультете в Праге. Очень искренний, хороший малый. Папá был им очень заинтересован и много с ним беседовал.

Ну, прощайте, Л. Ив. Когда же мы увидимся с вами? Спасибо за совет не заезывать. Как это верно, и как важно это помнить. Любящая вас

Маша Толстая.

Письмо Татьяны Львовны 22 октября 1894 г.

Дорогая Л. Ив. Я хотела рассказать вам про наш журнал и про то, что пишет теперь папá О жур-

нале напишу, а о книге папà начала было писать и даже делала выписки, но потом раздумала.

1) Мне стало неприятно делать эту indiscretion по отношению к папà, 2) боялась испортить вам эту вещь, 3) она еще не готова и 4) может-быть вам интереснее другие места, чем мне. Ни одна вещь папà мне так не помогла думать, как эта, и не давала таких ясных и несомненных ответов. Поэтому мне так хочется, чтобы побольше людей ее прочли. Еще до конца далеко, и у папà сил все меньше и меньше, и поэтому за-раз он работает по очень малу. Журнал наш, или архив, как папà велел его называть, будет состоять из статей (русских и преимущественно переводных), которые не могут быть напечатаны, и из интересных писем. Мысль эта возникла у нас потому, что папà, Чертков и разные наши друзья получают пропасть интересных и важных писем и статей, и прочитанные двумя-тремя лицами, они так и затериваются. Теперь весь материал будет сдаваться одному лицу, которое будет его разбирать, группировать и выпускать номера архива. Страшно, как бы такое безобидное дело не вызвало гонений и преследований, но, я думаю, пугаться этого не следует. Если вам и Любовь Яковлевне попадется что-нибудь подходящее, пришлите нам. Мы живем в Ясной — папà, Маша и я. Мне все это время грустно и одиноко. Всё не умею жить без привязанности людей, и когда случится, что надо ее лишиться, я ропщу и тоскую и стараюсь новой дружбой заменить потерянную. Бывают редкие минуты, когда я настолько чувствую единение с богом, что отношения людей ко мне не важны, а я принимаю их любовь как лишнюю незаслуженную радость, а нелюбовь — за указание моих ошибок; но чаще бывает, что вся моя жизнь зависит от этого. Маша целует вас и огорчается, что давно не получала от вас писем. Папà вам кланяется. Не занесет ли вас судьба в Москву?

Это было бы большой радостью для всех нас. Целую вас нежно.

Татьяна Толстая.

В декабре 1894 г., не списавшись с Толстыми, я поехала к ним в Москву. Оказалось, что Лев Николаевич с Татьяной Львовной гостят в деревне у Олсуфьевых. Графиня очень жалела, что я проехалась даром, как она скромно говорила, но тем ласковее и радушнее она меня принимала. Марья Львовна уговорила меня перебраться из гостиницы к ним, благо комната Татьяны Львовны пустовала. Впрочем, помнится, мы спали, кажется, в одной комнате и долго беседовали по вечерам и о смысле жизни, и о долге, и о своих личных чувствах. Марья Львовна водила меня в „Посредник“, знакомила с „темными“ и целыми днями говорила мне об отце. Дочери никогда ничего не скрывали от него, и он всегда знал об их увлечениях. Как-то Марья Львовна должна была ехать на вечер, где после долгого промежутка времени могла встретить своего Петра. Лев Николаевич не ложился спать и ждал ее возвращения, чтобы узнать, как она перенесла эту встречу.

Марья Львовна не сомневалась в том, что отец отошел от церкви только потому, что увидел ее неправду. Она говорила: „Он пришел к этому...“ И она так говорила это, что было ясно: куда бы, к чему бы он ни пришел, ее любовь пойдет за ним всюду, без колебаний, без размышлений. Она давала мне читать его рукописи. Я прочла „Отца Сергия“. В 1894 г. рассказ этот кончался тем, что, убив девушку, о. Сергей сказал: „нет бога“.

Мне рассказ не понравился - и показался тенденциозным и выдуманным. Я сказала это Марье Львовне. Она кротко заметила: „Однако, говорят, в Москве был такой случай с архиереем...“

— Ну, так и рассказывал бы Лев Николаевич об архиерее... Зачем же старец?..

Графиня была очень добра, ровна и мила. Удручала ее только болезнь Льва Львовича, который жил теперь в доме отца, где ему отвели две прекрасные комнаты. Он курил, носил не блузу, а европейское платье и был мрачно настроен, говорил о самоубийстве или о своей неизлечимости. Ванечка тоже прихварывал то желудком то лихорадкой. Графиня переводила заботливый, любящий взгляд с одного на другого, с тревогой следила за ними и усердно их подкармливала. Без Льва Николаевича „темные“ не показывались, и графине не на кого было ворчать. И в этот приезд свой я не слыхала от нее ни одного слова осуждения толстовцев. Раз только, уж не помню по какому поводу, она добродушно промолвила: „Ну, да ведь с тех пор, как у нас все святыми стали, тут такие сплетни пошли...“

Вот отсутствие Льва Николаевича и Татьяны Львовны было еще заметнее, до какой степени их любили все в семье. Их поминутно вспоминали, поминутно говорили: „Надо будет рассказать папà, надо написать Тане...“ Когда приходили их письма, их читали вслух по несколько раз и снова перечитывали их для всех вновь прибывавших. И Лев Николаевич писал такие хорошие, простые и ласковые письма доброго семьянина. Маленький Ванечка давно уж смотрел на меня как на свою собственность. Маркс

прислал ему в подарок роскошное издание сказок Гримма, и Ванечка очень увлекался этими сказками.

— Читайте, читайте, — нетерпеливо твердил он, делая несчастное лицо, если кто-нибудь прерывал чтение.

Накануне моего отъезда он слег, ослабев от лихорадки. Я все утро сидела у его постели, вырезала ему картинки и наклеивала их на тетрадку. Он сказал мне, что слышал от няни, будто все дети, умирающие до семи лет, прямо делаются ангелами. Сообщив мне об этом, он прибавил озабоченно:

— А мне-то ведь скоро уж и восемь!

Я сказала, что бережно храню подаренные им мне ландыши.

Он спросил: „а в чем вы их держите?“

— В книге. В Библии.

Я ушла с Марьей Львовной в „Посредник“, а когда вернулась к Ванечке, он поднес мне сюрприз: маленький, розовый, майоликовый кувшинчик и карточку, на которой он собственноручно написал: „Ваня дарит для первых весенних цветов на память милой Лидии Ивановне“.

Не дождавшись Льва Николаевича, я уехала домой.

Письмо Марьи Львовны 25 января 1895 г.

Дорогая Л. И., пишу сама, а не переписываю с Пашиного (Павла Ивановича Бирюкова) брульона, — совсем сама. Сказка о зверях совсем не папашина, а неизвестно чья. Мы давно уже слышали об этом и ничего не понимаем, не понимаем даже, откуда могло пойти это. У нас Ванечка все хворает. До сих пор лихорадка и такая сильная и упорная,

что ничему не поддается. Вот уже 18 дней жар. Мама очень о нем тревожится, и, действительно, он, бедненький, ужасно исхудал. Папа с Таней вернулись веселые, отдохнувшие, здоровевшие. Я ужасно за папа рада. Я, конечно, к ним не ездила, нельзя было маме оставлять. Папа все еще поправляет свою „Метель“, теперь уже в корректурах. Она очень еще выросла с тех пор, как он уехал к Олсуфьевым. Пишет тоже „Катехизис“, и я ловлю себя на том, что мне досадно, что не художественное. Мне ужасно нравится, что вы собираете материалы о благотворительности. У нас весь московский свет увлечен ею. Девушки делают спектакли в пользу бедных, собираются, чтобы раскрашивать афиши, и ездят в санях парой с лакеем, чтобы осматривать свои участки. Может-быть это и хорошо, потому что, я думаю, им не может не стать стыдно перед теми, кому они благодетельствуют. На-днях с нашей Зотовой, о которой я вам рассказывала, была история очень характерная. Благотворители привели к ней оборванную старуху с улицы и велели ей жить у Зотовой и помогать ей при детях. За это Зотова будет ее кормить, а они будут давать Зотовой два двугривенных. Вышло то, что конечно и должно было случиться. Они обе перессорились, старуха оказалась ни к чему не способной. Зотова боялась ей доверять детей, и через три дня они уже умоляли все у них отнять и освободить их друг от друга.

Вчера в „Посреднике“ было заседание, в котором Клопский защищался против обвинений в том, что он—агент тайной полиции. Мне жаль его; я понимаю, как ему должно быть тяжело общее отчуждение и одиночество. Его и так никто не любит. Но это заседание, конечно, ни к чему и ничем ему не поможет. Пока прощайте, милый друг Л. И., целую вас и очень, очень люблю. Таня вас целует.
Любящая вас М. Т.

Дорогая Л. И., вчера вечером умер наш Ванечка от скарлатины. Болел только два дня. Была очень злокачественная скарлатина с осложнением желудочным. Вы понимаете, какое это для нас всех горе, а главное для мамà. Такое неожиданное, страшное горе! Этот милый, дорогой нам всем, чуткий, особенный мальчик!.. Я не знаю просто как мамà перенесет это; ведь ее жизнь была вся в нем. Помогите ей бог справиться с этим, а нам помочь ей. Папà тоже плачет ужасно. Я знаю, как вы поймете наше горе и пожалеете нас.

Простите, я не могу ничего писать. Целую вас, дорогая. Вы тоже любили его.

Мария Толстая.

23-го февраля не стало милого Ванечки, а за два дня до него скончался и мой сосед Н. С. Лесков.

На похоронах его я простудилась и заболела плевритом. Я все думала о графине и не могла вспомнить о ней без слез. Говорили мне, что и она заболела. А мой отчим ослеп. Везде и у всех было такое грустное настроение.

Любя Толстых, я сблизилась и с толстовцами, из которых больше всего по душе мне пришелся добрый и умный Бирюков. Он, как и я, любил Льва Николаевича и Марью Львовну, и это нас сближало. Полюбила я и Ивана Ивановича Горбунова и его жену. Все мои знакомые литераторы того времени, между собой несходные и не всегда дружные, также были большими поклонниками Льва Николаевича, интересовались и его работами и его жизнью и при встречах неизменно спрашивали друг друга: „Ну, что в Ясной? Что в Ясной? Что в Хамовниках?“

Страхов особенно усердно делился со мной всяким известием из Ясной. В письме, приложенном к книгам, которые он посылал мне, я прочла:

Вот какие новости. Сегодня был у меня чудеснейший образчик человеческой природы, Владимир Григорьевич Чертков. Он целый месяц жил с женой в Москве и рассказывает, что хотя Лев Николаевич и прихварывает, но бодр и много работает, пишет письма о патриотизме, о розге, отвечает на запросы, которые ему шлют со всех сторон. Кроме того принимается и за художественное. Много пишет. Особенно его занимает драма: „молодой человек вступает в свет, но чувствует такую фальшь и путаницу, что все порывает и бросает“. Обе дочери здоровы. У них бывают молодые гости, которых Лев Николаевич называет сиднями или седоками за то, что долго сидят...

Я читала это письмо, когда позвонили, и ко мне вошел сам чудеснейший образчик человеческой природы. Чертков сел, рассказал мне, что жена его всё хворает и не может сама приехать ко мне, но она желала бы со мной познакомиться. Не могу ли я приехать к ним?

Не откладывая, я поспешила познакомиться с женой Черткова, о которой слышала много хорошего от Толстых. Кроткая, хорошенькая Анна Константиновна, с болезненным детским личиком, с красивыми глазами, мне очень понравилась. Понравился и ее мальчик, Димочка, чудеснейший образчик ребячьей природы. Чертковы жили в Гавани, в одном из многочисленных домов его матери, сектантки Елизаветы Ивановны, усердно насаждавшей пашковство среди бедного населения Гавани. Прекрасная, барская квар-

тира их была просто и скромно убрана. Мебели было немного, но все было дорогое и хорошее; а когда я случайно присела раз на кровать Анны Константиновны, я думала, что утону,—до того она была мягка. Владимир Григорьевич одевался не то толстовцем, не то лавочником. Но его гвардейские, великосветские манеры свидетельствовали о том, что он одевается лавочником из принципа. И муж и жена показались мне достойными, незаурядными людьми.

В ту зиму я каждое воскресенье посещала собрания „этического кружка“ или „дружеского союза“, основанного Н. П. Вагнером. Старый профессор всю жизнь мечтал о том, чтоб объединить людей, желающих послужить добру и правде. Под старость он до некоторой степени осуществил эту мечту. Первыми членами нового союза были его друзья: старый Якобий и г-жа Бестужева-Рюмина. Затем он пригласил А. В. Половцева, его жену, В. Ф. Энрольд, кн. М. Н. Щербатову, М. О. Меншикова, меня, мою подругу, В. Е. Заханевич и еще кое-кого. Устава кружка я не помню, но целью членов повидимому было: уклоняться от зла и творить благо. Председатель наш был полон проектов и мечтаний и надеялся сделать из кружка подобие первой апостольской общины. Каждое воскресенье, позвонив у двери Вагнеров, мы проходили через гостиную, в которой стояла клетка с попугаем, в кабинет хозяина. Там он читал нам что-нибудь для начала, а потом пили чай в столовой, где добрая Екатерина Александровна неизменно угощала нас сладким тортом. Уже здесь начинались прения, которые про-

должались и заканчивались снова в кабинете Николая Петровича. В конце концов, наговорившись досыта и, конечно, ни на волос не подвинув этики, мы спокойно расходились до следующего воскресенья.

Когда Бирюков и Чертков приехали в Петербург, я сказала Вагнеру:

— Вот прекрасные люди.

— Так пригласите их, — сказал он.

Бирюков думал, что никакими собраниями и разговорами не сделаешь людей нравственнее. Это сделаешь только бессознательно своим примером. Главное дело — в работе над собой и в строгом отношении к самому себе. Я вполне разделяла это мнение, но думала, что если старика радует и тешит, что мы у него собираемся, отчего и не доставить ему этого удовольствия. Во всяком случае мы не говорили и не делали ничего дурного. Оба толстовца пришли на зов. Не помню, о чем именно говорили в этот вечер, но помню, что в столовой, за чаем, в пылу проповедничества, Чертков встал на стул, к немалому удивлению сидевшей против него хозяйки, и с высоты этой импровизированной кафедры проповедывал учение Толстого.

Толстовцы внесли в этический кружок нечто новое, и в этот вечер прения были особенно оживленными. Чертков и Бирюков ушли раньше других. Через неделю, собравшись у Вагнера, мы все вместе поплелись на конке в Гавань. Позвонили у подъезда. Отворил лакей с безупречной внешностью человека *d'une maison bien montée*. Он впустил в просторную прихожую весь комплект этики, отошел в глубину

комнаты и замер у стены, как придворный аран, ибо в прихожую вышел сам барин, одетый лавочником, и с серьезным выражением лица стал собственноручно снимать с гостей шубы и шинели. Анна Константиновна была больна, лежала в постели, и у нее сидел Ярошенко. А мы все проследовали в особенно скромно убранную горницу, где за столом у самовара сидели два мужика-сектанта и баронесса Клодт, женщина, искавшая христианской деятельности и в конце концов поступившая работницей в крестьянскую семью. Говорили о сектантах и о претерпеваемых ими гонениях. Вагнер был православным и большим почитателем о. Иоанна Кронштадтского; ему трудно было стать на точку зрения Черткова. Много спорили, но не ссорились. Чай в это воскресенье пили уже не со сладким тортом, а с баранками. Мнения разделились: одни считали церковь мертвой, а ереси—живыми; другие, наоборот, считали учение церкви вечно-живым, а отпадающие от него ереси—отмирающими и засыхающими. Как было притти к соглашению?

— Позвольте, — говорил Вагнер: — все секты отделились от церкви, как ветви от ствола. Отделяется ли живое от мертвого, вырастает ли свежая ветка на сухом стволе?..

Но и Чертков твердо стоял на своем. Церковь уже отжила, церковь мертва или в параличе, жизнь только в ересах, — так думает „его друг“ Лев Николаевич.

И пошумев, поговорив, попив чаю с баранками, мы снова в безмолвном присутствии человека *d'une maison bien montée* надели свои шубы и шинели и покатали на конке обратно.

За время моего знакомства с толстовцами я невольно заинтересовалась блудными сынами церкви и ознакомилась с историей раскола и сектантства, со всеми разновидностями хлыстовщины, тайком расплодившимися на святой Руси. Я узнала о существовании немоляков, отрицанцев, Любушкина согласия, нетовщины, скопчества; узнала биографию Кульмана, Тверитинова, Данилы Филиппова, Ивана Суслова, Савицкого, Радаева, Селиванова; узнала и о новохлыстовстве, о шалопутах, молоканах, субботниках, воскресниках, о скакунах, штундистах, баптистах, белоризцах, серафимовцах, медальщиках, секачах, варсонофцах, дыропеках, дырниках, никодимцах, обнищеванцах, адвентистах, о Маликове, о малеванщине и о сютаевщине.

Мне казалось, что религиозное учение Льва Николаевича было ближе всего к последней. Но сами толстовцы утверждали, что к ним ближе всего молокане и духоборы. Поэтому история духоборов особенно меня заинтересовала. Я узнала, что около 1750 г. на юге России появился отставной прусский офицер, распространявший новое религиозное учение, быстро принятое крестьянами в Харьковской губернии, а оттуда перешедшее в губернии Екатеринославскую и Тамбовскую. Главой екатеринославских духоборов был Силуан Колесников, а главой тамбовских — хлыст Побирохин, житель села Горелова. Оба не признавали православной церкви, ни обрядов ее, ни властей. Они отвергали и священные книги, как испорченные людским вмешательством. Дорог дух, а не книги. Хлысты искали духа посредством радений, духоборы называли духом разум, помогаю-

щий им раскрывать таинственный смысл писаний, закрытый людскими искажениями.

В конце 80-х годов на смену Побирохину явился знаменитый Капустин, крестьянин, служивший раньше на военной службе. Он говорил, что раньше сосудом Христа был Силуан Колесников, а теперь он — Капустин. „Я—Христос, ваш господь, — говорил он. — Падите ниц. Обожают меня“. Духоборы стали послушно обожать его. Он воспользовался их обожанием для того, чтобы утвердить еще и право преемственности за своими наследниками. После его смерти сосудом Христа будет его сын, потом его внук и т. д. Проповедь Капустина готовила уже основы устройства будущей теократическо-коммунистической общины духоборов на Молочных Водах. В 1804 г. для разобщения с православными духоборов переселили на отведенные им Молочные Воды, пустопорожние места на реке Молочной в Мелитопольском уезде Таврической губернии. Они получили там по 15 десятин на душу и на первые годы были освобождены от податей.*

В 1805 году сам Капустин прибыл на Молочные Воды и организовал общину. Поля и имущества были объявлены общими, но право распоряжаться ими Капустин присвоил себе. Центром общины сделалась слобода „Терпение“, где в волостном доме, называемом Сионом, поселился Капустин, окруженный поклонением верующих. Отдельными колониями заведывали наставники. Суд совершал сам Капустин вместе с Советом тридцати, помогавшим ему и в других делах.

Пользуясь неограниченной властью и большими доходами, Капустин, однако, возбуждал недовольство беднейших членов общины, но богатеи поддерживали его. После смерти Капустина власть и звание пророка перешли к сыну его, Василию Калмыкову, и внуку Илариону Калмыкову. Оба уже совершенно открыто стали на сторону богатеев и с помощью Совета тридцати разрешали себе жестокие расправы с недовольными и восстающими против них.

Правительство воспользовалось слухами о несогласии между духоборами и выслало их с Молочных Вод на Кавказ, в Ахалцыкский округ, где без всяких льгот по несению податей и повинностей духоборы начали новую жизнь в новых условиях, на новой земле, неблагоприятной для хлебопашества, что побудило их искать других заработков и не пренебрегать и торговлей. Они построили на новом месте слободу Горелое и устроили Сион. У них сохранилась общественная касса, которая быстро росла. В 1854—1855 гг. духоборы обслуживали обоз армии и путем подрядов и поставок многие из них нажили большие капиталы.

Управление общественной кассой было попрежнему в руках капиталистов, составлявших Совет тридцати при пророчице Лукерье Калмыковой, вдове последнего сосуда Христова. Лукерья, умирая, не назначила себе преемника, и управление ее капиталами захватил ее брат. Но друг и воспитанник ее, молодой Петр Веригин, предъявил свои права на звание Христа и пророка. Тогда община раскололась на две партии: гореловцев и веригинцев. Правительство стало на сторону первых, Лев Ни-

колаевич и его друзья—на сторону вторых. Веригинцы начали процесс против гореловцев из-за общественного капитала. На Кавказе среди духоборов жили в то время князь Д. А. Хилков, Ив. М. Трегубов, княжна Никашидзе и др. Лев Николаевич и его друзья были в личной переписке с Петром Веригиным. Последний был арестован и сослан в Шенкурск. Гореловцы с капиталами уехали в среднюю Россию, а на Кавказе остались одни бедные веригинцы, без капитала, без главы и Христа, возлагая уже все дальнейшие надежды на заступничество друзей. Во главе последних стоял Лев Николаевич, действительно горячо принимавший к сердцу горькую участь гонимых.

Только 5 мая 1895 г. я получила запоздавший ответ Софьи Андреевны на мое письмо, посланное ей после смерти Ванечки:

Милая Л. Ив. Вы вероятно слышали, что я была очень больна, и поняли, что только поэтому я до сих пор не отвечала на ваше письмо. В тот день как вы мне писали, в день рождения Ванечки и на другой день особенно, — я была при смерти и я надеялась, что господь сжадется надо мной и возьмет меня туда же, куда взял моего маленького ангела. Но, видно, бог велит нести свой крест и исполнить еще все то, что им назначено. И вот я выздоровела, и сестра моя приехала из Киева и увезла меня и Машу к себе. Теперь мы вернулись, здоровье лучше. Планы наши на лето до сих пор неопределенны. Лев Николаевич собирает сведения о разных тихих уголках Баварии, где красива природа и мало людей. И ему и мне совсем безразлично, где и как жить. Думаем, что детям это будет хорошо и здорово. В Ясную же Поляну до того всем

больно ехать и жить с воспоминаниями о Ванечке, что никто не решается. Особенно меня боятся туда везти; а мне больно и совестно бежать от воспоминаний самых дорогих в моей жизни. И вот мы в нерешительности и стараемся понять, как лучше для всех.

Вчера ездила на могилу Ванечки и другого своего маленького Алеши, умершего девять лет тому назад, четырех лет. В первый раз я была там после смерти Ванечки и как тогда, так и теперь я не могу соединить живого Ванечки с тем, которого так жестоко пришлось зарыть зимой в эту глубокую ледяную яму. Могилка мне мало сказала; а говорит мне о смерти Ванечки вся моя жизнь, всякая минута моего душевного состояния, всякое лицо в доме, все вещи, все уголки и все то, что он любил и с чем жил. С ним ушла и моя душа, точно он ее с собой взял, а осталось одно томящееся тело без энергии, без жизни, со страданием, которое я должна нести до конца, чтобы искупить свои грехи. Хоть и тяжело, что с жизнью Ванечки исчез из дому весь детский мир с его радостями, с милым безумием игрушек, ёлок, катаньем яиц, собиранием грибов и проч. и проч. Но все это и так бы кончилось; но ужасно мне теперь жить без моей беспредельной, нежной любви, участия, ласки, понимания меня, которыми избаловал меня этот маленький семилетний Ванечка, худенький, болезненный, но с такой душой, любви которой хватало на весь мир. Никто меня так не любил и никого я так не любила в жизни. Как часто я вспоминала, как вы с ним сидели в ваш приезд в Москву, как ласково вы к нему отнеслись и как ему хорошо было с вами. Все те, кого он особенно отмечал в жизни, — все остались для меня особенно дороги. Хотя он ко всем был ласков, но были у него любимые, их было не очень много, а вы были в их числе. Простите меня, милая Л. И., что пишу вам только о том, что меня занимает, но я так глубоко

огорчена, что без слез не провела еще ни одного дня и жить не начинала еще никак.

Лев Николаевич здоров, выучился кататься на велосипеде, и это доставляет ему здоровое развлечение. Писать он ничего еще не может. И его подкосило наше горе, столь тяжелое в старые годы, как будто свет потух для нас со смертью ребенка нашей старости. Таня уехала на неделю в Ясную. Леву мы проводили в Финляндию, в городок Ганге. Видели ли вы его в Петербурге? С ним поехал Андрюша на неопределенное время. Миша держит экзамены, и мы для него сидим в Москве, не разлучаясь, все вместе. Сегодня уехали Толстые, семья брата Льва Николаевича. Сегодня же уезжает Павел Иванович в Кострому; все разъезжаются, и мне жаль, что Лев Николаевич проводит весну в городе. Это ему очень тяжело; а уезжать от меня он не хочет.

В прошлом году он в это время был уже в Ясной, а сегодня, 5 мая, я увезла Сашу и Ванечку к нему в Ясную, а сама вернулась к Андрюше и Мише, которые держали экзамены. Как всё изменилось! Главное, совсем изменилось мое отношение к жизни и смерти. Это самое большое горе в моей жизни, и всё то, что предстоит еще, — всё будет бить на эту открытую рану. К счастью, есть предел и силам человеческим и жизни. Когда увидимся мы с вами? Если собираетесь, то спросите раньше, будет ли Лев Николаевич с нами. А то теперь и Ванечки нет приветствовать вас весело и нежно. Целую вас и за Ванечку и от своего сердца. Дай бог вам радости жизни, успеха в вашем деле и всего хорошего.

Душевно преданная вам С. Толстая.

В мае 1895 г. Лев Львович с сопровождавшим его братом Андреем Львовичем были у нас в Петербурге проездом в Ганге. Вскоре после этого я

заехала в Москву в Хамовники, по пути в деревню куда я ехала на лето.

Подъехав к воротам их дома, я увидела на дворе Льва Николаевича, который делал круги на велосипеде. Он уже лихо летал и с увлечением предавался новому спорту. Татьяна Львовна была в саду и сказала мне с упреком:

— Что же вы не приехали тогда горевать с нами? Я вас ждала. Я была уверена, что вы приедете. Бедная мама все еще не может успокоиться. Он так много занимал места в ее жизни.

Мы вошли в дом, и я увидела бедную, изменившуюся графиню. Все были грустно настроены и говорили, стараясь не касаться того, что ей было так больно. Она звала меня в Ясную, и я намеревалась проехать туда, но неожиданная смерть моего отчима заставила меня ехать прямо домой в Павловск.

Письмо Софьи Андреевны:

14 июня, 1895 г.

Дорогая Л. И. Лев Николаевич, узнав о тяжелой болезни и операции Н. Н. Страхова, страшно взволновался и огорчился. Он просит вас сообщить нам о степени опасности его положения. Считают ли доктора его рак неизлечимым, или есть надежда на то, что после операции он поправится?

Извините, что прошу о письме. Вам не до нас, и у вас самой горе и расстройство. Что же вы не написали ничего о себе, о матери вашей? Любя вас, мы очень интересуемся и всем тем, что вас касается, а кто же вам ближе, как не мать. Вот еще ближе бывают собственные дети. И вот я, потеряв теперь одного, конечно самого любимого, утратила вдруг

всю радость жизни. Вы не можете себе представить, до чего мне тяжело здесь, в Ясной Поляне. Это маленькое, чуткое, утонченное существо в связи с впечатлениями природы до того врезалось в мельчайшие подробности моих воспоминаний, что я совсем не выношу их и только думаю одно — что долго жить с таким камнем на душе и с этим обилием слез нельзя, и господь отзовет меня к Ванечке. Последнее время много и разнородно хворал Лев Николаевич, и ужас потерять еще его, последнюю мою земную державу, усложнил и усилил мое тяжелое душевное состояние. Вот видите: я не как вы, я с доверием рассказываю вам свою душу, зная вашу отзывчивость. Напишите же и вы о себе, о семье вашей и любите по-старому, хотя пока и новых, но искренно любящих вас друзей.

С. Толстая.

Девочки и Лев Николаевич вам очень сердечно кланяются. Сейчас приехали мои три внука и моя невестка. Вчера были тут Сережа, мой старший сын и его невеста, Маня Рачинская. Она — племянница того знаменитого Рачинского, у которого школы в Тверской губернии. Мы все радуемся этой свадьбе. Она будет около 10 июля. Когда-то теперь мы увидимся с вами? С. Т.

Письмо Марьи Львовны.

20 июня 1895 г.

Дорогая Л. И. Спасибо, что написали о Н. Н. Страхове, но не спасибо, что ни слова не пишете о себе. Мы еще в Москве узнали о смерти вашего отчима. Мне ужасно жалко вашу матушку. Я знаю, что его смерть не столько больна вам, сколько ей, и не могу без боли думать о ней. Смерть всегда учит отношению к живым. Как хорошо бы всегда помнить,

что всякий человек, с которым общаешься, да и сам, сейчас можешь умереть и унести с собой существующие отношения, и как мы это всегда забываем, надеясь, что еще успеешь поправить, точно можно поправить почувствованное зло. Напишите, как ваша мать переносит свое горе, есть ли у нее бог, который один только может помочь ей. Моя мама, бедная, плохо переносит свое житье здесь, тоскует, уединяется. И я чувствую, что не в наших руках помочь ей. „Никто не придет к Отцу, если Отец не позовет его“. Папа все болеет. В Москве была инфлюэнца, лихорадка и его желчные припадки. Приехав сюда, он опять заболел и пролежал несколько дней с желудочной желчной болезнью и с жаром, доходившим до 40,1. Мы страшно перепугались, как всегда ожидая в этих случаях самого ужасного. Но теперь он встал и поправляется, и опять жить можно. Знаю, что это только отсрочка, что придется, по всей вероятности, не ему меня, а мне его пережить, и такая на меня при этом нападает трусость, что я мечусь и ищу какого-нибудь другого выхода из этого. Ну, вот, дорогая Л. И., и я мрачно написала, хотя в самой душе мне хорошо, как давно уже не бывало: серьезно, темно и любовно. Целую вас крепко, мой милый друг Л. И. Я всегда чувствую вас, люблю и, когда мне очень хорошо или очень грустно, всегда вспоминаю вас. Напишите же о себе, вы никогда этого не делаете, и я всегда только догадываюсь, что в вас происходит. Все наши вас любят и велят вам это сказать.

Ваша Маша Толстая.

От 10 июля 1895 г. я получила из Ясной письмо от Страхова и Льва Николаевича на одном листочке.

Душевноуважаемая Л. И. Вам первой хочу написать отсюда, зная, как вас интересует все здеш-

нее и помня, как вы были добры ко мне. Я застал хозяина Ясной Поляны в таком состоянии, что не могу нарадоваться. Он бодр телом, в прекрасном духе и работает каждый день над повестью, называемой „сюжет Кони“ („Воскресенье“).

Софья Андреевна, как я с первого раза увидел, уже пережила жгучий период горя. Перелом случился, как говорил Лев Николаевич, за две недели до моего приезда. Все здоровы. Татьяна Львовна особенно оживлена. Сегодня день свадьбы (Сергея Львовича и Мани Рачинской), и Толстых в Ясной Поляне нет ни души, кроме Льва Николаевича и меня. Все на свадьбе в Петровско-Разумовском у К. Рачинского.

Невеста так любит всю семью, что, можно сказать, выходит замуж за эту семью. Кажется, молодые заедут в Ясную, и я их увижу. Теперь о себе. С маленькими приключениями я проехал благополучно и 4 июля, до захода солнца, уже пил чай на балконе Толстых. Радость свиданья, деревня, чистый воздух—все сразу охватило меня. Стоит чудная погода, настоящий июль, и сегодня я почувствовал себя так бодро, как давно не чувствовал. Дай бог и вам здоровья и всего хорошего. Простите вашего искренно преданного Н. Страхова.

Продолжает на том же листке Лев Николаевич:

Николай Николаевич пишет вам, и мне захотелось написать вам хоть несколько строк, чтобы поблагодарить вас за ваши хорошие письма ко мне, и девочкам, и особенно—жене.

Николай Николаевич пишет вам про меня; так я же вам напишу про него. Я особенно рад ему, и мне чрезвычайно хорошо с ним. Радуюсь тоже тому, что здоровье его гораздо лучше, чем я думал. Он пишет вам про мою работу. Мне бы не хотелось, чтобы о ней знали редакторы, а то не будет покоя, и будет какой-нибудь грех. Вы, верно,

знаете, стихотворение, кажется Фрейлиграта, о том, что смерть напоминает нам о том, что мы пропускаем случай любить. Ваши сожаления о том, что вы уехали от вашего отчима, и еще многое другое напомнили мне это. Как хорошо бы было, если бы мы всегда помнили это. Кажется, вся наша жизнь, со своими бедствиями, болезнями, достаточно напоминает нам это, а мы всё забываем, хотим, чтобы на каждого человека было наложено особое клеймо: „этот человек непременно умрет“. Желаю, чтобы вам никогда не нужно было напоминать этого. Это самое лучшее, что могу пожелать.

Искренно любящий вас Л. Толстой.

Осенью 1895 г. прямо из Ганге Лев Львович проехал в Швецию и женился там на дочери лечившего его доктора Вестерлунда. Мать моя, овдовев, переехала со мной в Царское Село. В первый же год нашего переселения нас посетила Татьяна Львовна, гостившая у родных в Петербурге. Она рассказала мне все яснополянские новости. Я спросила о жене Льва Львовича. Очень милая, хорошенькая, совсем молоденькая женщина. К толстовству относится отрицательно, почти враждебно. Живут молодые в Ясной Поляне вблизи стариков, но в отдельном доме. Я спросила Татьяну Львовну не собирается ли и она замуж. Она отрицательно помотала головой и сказала:

— Если желаете мне добра, не желайте мне выходить замуж.

— Почему?

— Потому, что я знаю в себе много безобразных женских свойств, которые теперь у меня на

привязи и дремлют. А замужество их разбудит, и эти ужасные драконы в виде ревности, женского деспотизма, требовательности, эгоистической любви все выползли бы и испортили бы и мне и всем, окружающим меня, жизнь...

Она наговорила еще столько о себе дурного, что я дала прочесть отзыв о ней в письме Страхова:

„Татьяна Львовна очень для меня, как и для многих, привлекательна. Под своей светскостью она стыдливо скрывает горячую любовь к своим и жажду какого-нибудь подвига“.

Она прочла, засмеялась и сказала, что она себя лучше знает.

Татьяне Львовне надо было зайти к ее тетке Александре Андреевне Толстой. Я проводила ее до улицы и стала ждать ее в парке. Она вернулась в смущении и сказала:

— Ну, что мне делать? Чертков только-что заставил меня снять все золотые украшения, а тетушка подарила мне браслет да еще с графской короной. Ее браслет...

Прошел еще год. Соскучившись по Толстым, я поехала к ним в Москву, предварительно списавшись с графиней. Никогда еще я не видела Льва Николаевича таким оживленным, жизнерадостным, таким прежним и веселым. Он кончил свою большую работу „Воскресение“. Он был рад тому, что духоборы-веригинцы сожгли свое оружие и всей общиной отказались от участия в военной службе. Все друзья его с интересом следили за их дальнейшей судьбой. Это был уже не Дрожжин, не еди-

ничный отказ от военной службы. Целая секта, целая община вставала как один человек. Павел Иванович Бирюков ликовал по поводу того, что духоборы сожгли свое оружие 29 июня, в день его именин.

В Москве я остановилась в гостинице, но почти все время проводила у Толстых. В первый же вечер у них было много гостей, все светских. Был и старик Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича. Какая-то дама очень хорошо пела. По желанию Льва Николаевича она спела „Утреннюю серенаду“ Шуберта, которым он очень восхищался. Она несколько раз повторила ее, и каждый раз он говорил: „как хорошо!“ Потом она пела Чайковского, но это уже менее ему нравилось. Обе дочери были дома и милы попрежнему. Лев Львович с молодой женой, Дорой Федоровной, также гостил в Хамовниках. Она училась русскому языку, но говорить еще не решалась и говорила только по-английски. Графиня хлопотала, распоряжалась и, проволновавшись весь день, ложилась спать последняя, долго еще перед отходом ко сну совещаюсь с поваром о том, чем ей на завтра накормить всех этих — и своих и чужих, и темных и светлых, праведных и неправедных, благодарных и неблагодарных.

Очень хорошо было у Толстых. Их московская гостиная была немного наряднее деревенской, но и в ней не было ничего лишнего. Помню, что когда я приходила к другим моим московским родным и знакомым, меня всегда неприятно поражало обилие ковров, картин, портьер и прочей дребедени.

Окончив свое „Воскресение“, Лев Николаевич все же писал каждый день у себя в кабинете. Дочери переписывали, но не могли писать так много, как в деревне. Гости мешали. Гости сменялись гостями. В столовой, кроме гитары Марьи Львовны и балаек ее братьев, теперь всегда лежали ракеты для волана. У Толстых всегда была в ходу какая-нибудь игра. Теперь была полоса волана. Вставая из-за стола, Лев Николаевич брал ракетку, кто-нибудь из детей становился против него, присоединялись и еще любители, и иной раз вытягивались два длинных ряда играющих.

Младшие сыновья, кажется, уже совсем доучились. Саша выросла. Няня по-старому сидела в девичьей и вязала чулок, вспоминая Алешу и Ванечку. Я попрежнему любила все комнаты, все коридоры, все ступеньки и пороги дома в Хамовниках. Кроме хозяйства и изданий, графиня занималась еще музыкой и фотографией.

Как-то мы сидели с ней в гостиной, и она показывала мне свою коллекцию семейных групп и снимков. Вошел Лев Николаевич и сел возле меня. По поводу фотографии его сестры-монахини он сказал, что она, как и я, привыкла верить церкви с детства, что в нас обеих сильна привычка детства. Если бы в детстве не было такого сильного внушения, нас не влекло бы к этой вере.

Ни графиня ни я ничего не возражали ему на это. Он помолчал и, чувствуя, что в душе мы с ним несогласны, прибавил:

— Ну, не знаю. Но вот уже сколько лет я верю так, как я теперь верю, и, мне кажется, я не ошибаюсь.

Графиню зачем-то вызвали. Мы остались вдвоем. Он спросил меня:

— Вы пишете?

— Нет... И трудно. Да и нечего.

— Хотите я дам вам тему? Вы ее почувствуете, и у вас выйдет хорошо. Вот что расскажите: Жили муж и жена. Между ними была так называемая любовь. Жили так себе, что называется: ссорились, но мирились, измены не было... — Он остановился и стал думать, как бы что-то припоминая, затем твердо повторил: — Измены не было ни с той ни с другой стороны. Было много детей. Жизнь быстро прошла. Состарились. Дети выросли. И вот жена едет проведать своих взрослых детей, объезжает их всех и видит, что один — жену обидел, другому вечно денег нехватает, третий женился на иностранке и привез ее сюда, где все ей чуждо и непонятно...

Мне стало неловко; все это слишком напоминало нечто близкое, так что мне даже хотелось сказать: „а дочери?“ Но я не смела и молчала глядя в пол. Лев Николаевич сказал еще что-то сухое и жесткое о двух младших сыновьях героини и закончил так:

— И вот, объехав всех своих детей, она видит, что все они живут не так, как следует, и при этом и сами не удовлетворены. Но она не в силах поправить это, видит, что жизнь прожита бесплодно, и идет в монастырь. Напишите. Я бы и сам написал, да боюсь, не успею.

Графиня вернулась и спросила:

— Что ты не успеешь?

— Я дал тему Л. И.

— Тему? Это хорошо... Пишите, пишите. Пора вам уже что-нибудь написать. Тема грустная или веселая?

— Грустная, — сказала я.

Лев Николаевич встал и ушел. Я смотрела на графиню и думала: „В монастырь? Она только-что говорила, что хочет ехать в Италию“.

Графиня показала мне все свои семейные снимки. Потом Марья Львовна повела меня к себе и стала показывать группы духоборов и духоборок в безрукавках, в обшитых кружевом передниках и отороченных бархатом шапочках. Всегда живущая интересами отца, Марья Львовна была полна сочувствия к веригинцам и рассказала мне о гонениях и о притеснениях, которым они теперь подверглись за вмешательство в дела духоборов. Князь Д. А. Хилков был выслан с Кавказа в Вейсенштейн, глухой и маленький городок Эстляндии. Узнав об этом, В. Г. Чертков и М. О. Меньшиков решили съездить навестить его в ссылке. Чертков был знаком с Хилковым. Меньшиков же не видал его в глаза, но идеализировал его по рассказам друзей. Кажется, впрочем, они обменялись письмами, и Меньшиков получил портрет Хилкова в мужицкой рубаше и золотом пенснэ. Однако Чертков узнал, что до свидания с изгнанником их не допустят. Оба решили напрасно не ездить. Тогда мне пришлось в голову съездить в Вейсенштейн вместо них, пользуясь тем обстоятельством, что вейсенштейнский воинский начальник женат на родственнице моего отчима, с которой я была немножко знакома. Бирюков сильно поддерживал меня в моей затее,

а Меньшиков, провожая меня на вокзал, говорил мне: „я завидую вам...“

Я приехала к родным в Вейсенштейн. Пришли изгнанник и начальник уезда. В его присутствии я сыграла с Хилковым несколько партий в шахматы. Я рассказала ему, что Чертков, Трегубов и Бирюков написали воззвание под заглавием: „Помогите“ в защиту духоборов от властей и стараются этим воззванием заинтересовать печать и общество. Князь Д. А. Хилков рассказал мне о том, как он убил турка, как познакомился с духоборами, как у него отняли его детей. Потом мы поговорили о Льве Толстом и о Генри Джордже.

По уходе гостей жена воинского начальника рассказала мне, что князя Х. здесь носят на руках.

Воротясь из Вейсенштейна, я нашла у себя на столе письмо Льва Николаевича по поводу одной рукописи, которую он поручил мне пристроить:

Дорогая Л. И. Очень вам благодарен за ходатайство перед Стасюлевичем и за предложение отдать это в „Ниву“. Я совершенно несогласен со Стасюлевичем и очень жалею, что он так непонятлив. Начали ли вы писать на мою тему? Если начали, то продолжайте. Если вы полюбите эту тему, то будет очень хорошо. Если же не начинали, то не начинайте. Я знаю, что никогда не напишу этого, а все-таки хочется надеяться. В последнее время пришлось опять живо почувствовать то, что хотелось бы выразить в этом писании.

Здоровы ли вы? бодры ли? довольны ли своей жизнью? Желаю вам радостного труда и дружески жму вашу руку. Не узнаете ли чего про Черткова и про успех или неуспех его дела?

Любящий вас Толстой.

Дело Черткова, как и можно было ожидать, увенчалось неуспехом. Все три автора воззвания „Помогите“ были приговорены к высылке в глухие городки Прибалтийского края или за границу.

Как только разнеслась весть об этом, у Чертковых сейчас же собрались все друзья, все сочувственники и просто знакомые, и „темные“ и светские. Настроение было веселое, точно праздничное и даже несколько легкомысленное. У Анны Константиновны не сходила с уст улыбка, а Чертков имел победоносный вид. До сих пор Горемыкин говорил: „Толстовцы несносны, но не опасны“. Теперь их признали опасными: с ними вступали в борьбу, их преследовали.

В комнатах, полных гостей, стоял оживленный говор. Снялись все вместе, группой, при вспышке магния. Меня много спрашивали о Хилкове, и я рассказала всё, что о нем знала и слышала. Много говорили о духоборах и их горькой участи, но большого сострадания к ним я что-то не замечала. Их страдания отступали на второй план при таком крупном событии, как высылка Черткова из России, Бирюкова в Бауск и Трегубова в Феллин. Разговоры были несвязны и отрывочны. Помню, что Чертков обратился к А. М. Хирьякову и попросил его рассказать анекдот про немца на Кулерберге. Анекдот вызвал смех и улыбки. А мне от этого Кулерберга стало больно при мысли о том доверии, с которым бедные, далекие крестьяне относились к своим заступникам. Бессознательно мне как будто стало стыдно чего-то, точно и я была не безвинна в том, что Кулерберг был Кулербергом,

а не Эльборусом. Я старалась не думать об этом. Хорошенькая Ольга Константиновна, сестра А. К. Чертковой, познакомила меня с одной дамой, прося приласкать ее в Царском Селе, где она чувствовала себя одинокой. Дама эта была гувернанткой Анны, Ольги и Марии Дитерихс, француженка, вышедшая замуж за русского дипломата, с которым уехала в Японию. Не знаю почему она теперь очутилась в Царском Селе, но помню, что она в тот же вечер рассказала мне, какие славные существа ее три воспитанницы и как она их любит. Галя (Черткова) была очаровательной девушкой и многим нравилась. Но она не только не тщеславилась своими успехами, а всегда глубоко горевала о тех, кто по ней страдал, и даже иной раз плакала, говоря: „Ну, чем же я виновата? Ну, что же я могу?..“

Приезжали и родные Анны Константиновны проститься с Чертковыми перед их отъездом. Лев Николаевич сам приехал в Петербург, кто говорил проститься с Чертковыми, кто говорил — хлопотать о его помиловании.

В день его появления у Чертковых собралось еще больше гостей. Две большие комнаты были переполнены. Общество само собой кристаллизовалось. Сливки были в первой комнате, кто попроще—во второй. Там собрались мужички-сектанты, женщины в платочках, двое рабочих с Обуховского завода, дворник, который не крестил своих трех детей и всем об этом рассказывал. Был здесь и сын Сютаева, молодой малый с тупой физиономией и длинными волосами, разделенными прямым

пробором. Помню, что в первый же вечер Лев Николаевич сидел тесно окруженный толпой почитателей и говорил мне о духоборах, о том, как хороша и чиста их жизнь. У них нет ни пьянства ни нарядов. А ведь наряды — вещь ужасная. Это — то же пьянство.

Все слушали его с благоговейным вниманием, с любовью и уважением. Его присутствие невольно настраивало общество на более высокий лад. Он расспрашивал рабочих об их жизни на заводе. Как им живется? Да ничего; их не трогают. Их, толстовцев, там мало. Вот социалов у них очень много. За теми наблюдают, к ним придираются; ну, а им пока ничего.

Дворник, видимо, очень любивший поговорить, стал рассказывать о том, как он не крестил никого из своих детей. И что же? Растут, как божьи злаки, вполне благополучно. Говорят: „как же можно, чтобы не крестить?“ А вот так просто и можно. Он рассказал еще, что, выйдя сегодня вечером на улицу, он увидел небесный свод, усеянный яркими звездами и подумал: „Вот твой храм, господи, вот он истинный и нерукотворенный. Какого людям еще нужно?“ — „Верно я говорю, Лев Николаевич? Храм есть нерукотворенный, а все прочее — выдумки“.

Лев Николаевич с ним согласился и в свою очередь рассказал, что вошел он сегодня в гастрономическую лавку и видит: среди жестянок с сардинками и банок с грибами живописное изображение Христа. Он подумал: „зачем это?“

Время проходило в беседе. Это был хороший день. Настроение у всех было серьезное, теплое,

любовное. И Лев Николаевич не мог не чувствовать этого.

Бирюков не был еще женат, но у него была невеста. Его звали Пошей, а ее Пашей. Паша давно уже любила Пошу, но Лев Николаевич не советовал ему жениться, говоря, что свободному человеку легче прожить совершенной жизнью. Но теперь, узнав, что Павла Николаевна тоже поедет в Бауск со своей старшей сестрой и тремя крестьянскими сиротами, которых она воспитывала, Лев Николаевич радвался этому и говорил ей: „как я рад, что вы есть“.

Время шло. Гости беседовали. Мы, женщины, что-то шили, работали... Потом благообразный Евгений Иванович с каким-то помощником из „темных“ стал похаживать с тарелками, ножами и вилками, расставляя все это на длинном столе, который внесли в комнату два толстовца. Деликатные гости поспешили удалиться в другие комнаты, отказываясь от угощения, а голодные сели за стол и принялись уплетать дымящийся картофель. Кажется, была еще и каша. Помню только, что Лев Николаевич хвалил картофель.

По окончании этой трапезы мы с Павлом Ивановичем перешли в комнату, где никого не было, сели к окну, и он стал говорить мне о том, какой хороший человек Павла Николаевна и как его тревожит, что с ней будет, случись с ним что. Неожиданно к нам вошел Лев Николаевич и сказал: „ага, накрыл вас“.

Я засмеялась, а Павел Иванович совершенно серьезно начал оправдываться и объяснять, что он сказал только то и то...

Я перебила его, говоря:

— Павел Иванович точно боится, чтобы его не заподозрили в чем-нибудь не должном. А я несколько не боюсь сказать, что я очень огорчена разлукой с ним, потому что люблю его больше, чем всех других толстовцев.

— Не надо, — сказал Лев Николаевич. — Так не надо. Любовь должна проливаться на всех, как вода...

— Знаю, — сказала я. — Но очень трудно отделаться от симпатий и антипатий. Мне вот Павел Иванович по душе, а NN, вот, не по душе...

— И мне также, — неожиданно признался Лев Николаевич и прибавил: — А я больше всех люблю Черткова.

И мы стали исповедываться в своих грехах. Потом снова заговорили о Бауске, о Павле Николаевне, и Лев Николаевич еще раз повторил, что он очень рад тому, что она есть.

В этот вечер я окончательно простилась с Чертковыми, которых больше уже не встречала. Через несколько дней друзья торжественно проводили их на железную дорогу, и они уехали в Англию, прихватив с собой и доктора Шкарвана, которому нельзя было вернуться к себе на родину.

Все высланные уехали. Бирюков, Хилков и Трегубов скоро соскучились в своих прибалтийских городах, отпросились и перебрались за границу. Бирюков женился на Павле Николаевне, пожил вблизи Черткова в Purleigh, в Англии, затем переехал в Швейцарию. Около Женевы, на пути к Лансу, в Опех, они купили себе хорошенький до-

мик с садом и принялись возделывать свой виноградник.

Я была еще два раза в Вейсенштейне у Хилкова, познакомилась там с его женой и матерью, с его детьми, два раза была в Гольдингене у Трегубова и два раза у Бирюковых, в Опех.

За время своего пребывания за границей Чертков и Бирюков издавали толстовский орган: „*Libre Pensée*“ и „*Libre Parole*“.

Хилков из Вейсенштейна тоже уехал в Англию, где жена его родила своего младшего сына, английского подданного. Сам Хилков немедленно приступил к помощи духоборам. Сначала он перевез их на Кипр. Но климат этого острова оказался неподходящим. Надо было искать и найти им их Ханаан. Лев Николаевич пожертвовал им весь гонорар за „Воскресение“. На помощь духоборам пришли и „*London Society of friends*“ и „*Philadelphia Society of friends*“. В материальных средствах не было недостатка. Но куда везти их из России? Князь Кропоткин, сам побывавший в Канаде, напечатал в „*Nineteenth Century*“ статью о том, что северо-западная Канада была бы подходящим местом для духоборов. Лев Николаевич, прочитав статью Кропоткина, сейчас же обратился к нему, прося устроить это дело. Кропоткин написал своему знакомому Мэвору, профессору университета в Торонто. Мэвор съездил в Оттаву и переговорил с министром внутренних дел. Всё уладилось. Вскоре Хилков, Мод и два ходока от духоборов, Иван Ивин и Петр Махортов, поехали в Канаду выбирать участки, по их мнению наиболее удобные для русских переселенцев, которым давали

по 160 акров на (мужскую) душу. Им отвели землю на берегах Саскачевана, в Манитобе, и вблизи Лорк-тана. Лев Николаевич был очень доволен тем, что переселение 7500 его единомышленников было обеспечено. На двух больших пароходах „Lake Huron“ и „Lake Superior“ поплыли в свой Ханаан русские крестьяне из Тифлисской и Елисаветпольской губерний. Сул—ий вез 2000 духоборов на „Lake Huron“, С. Л—ч вез 1900 на „Lake Superior“. Остальных предполагали перевезти весной. Для оказания медицинской помощи путникам к С—у и к С. Л—у присоединились еще несколько добровольцев интеллигентов: Алексей Б., Мария и Александра Э., добрейшая Ефросиния Дмитриевна Х—а и др.

В чудный солнечный день пароход „Lake Huron“ благополучно прибыл в Галифакс, где духоборов торжественно встретили представители администрации и прессы Канады и князь Хилков. Канадцы с любопытством разглядывали здоровых, рослых, мужественных чужестранцев, тепло одетых в тулупы и бараньи шапки, разглядывали и красивых женщин в ярко-красных и синих юбках, с пестрыми платками на головах. Пароход приближался к берегу, а духоборы, стоя на палубе, пели псалмы. Их встретили приветственными речами.

Мистер Бульмер сказал им:

— Я не знаю имени вашего императора. Но имя вашего друга и покровителя Льва Николаевича так же известно в Канаде, как и в России. И я верю в то, что один из ваших мальчуганов, слушающих меня здесь в настоящую ми-

нуту, займет со временем, подобно Льву Толстому, мировой литературный престол с честью для нашей страны.

Князь Хилков встречал своих друзей и распоряжался отправкой их по железной дороге к новым местам жительства. Переезд был совершен довольно благополучно. Все же десять человек (трое стариков и семеро детей) в дороге умерло, и пришлось их бросить в волны; в пути было заключено шесть браков, и родилась одна девочка, которую назвали Канадой. Это был первый ребенок, родившийся под английским флагом. Духоборы немедленно принялись за постройку жилищ.

А в Хамовниках и в Ясной тем временем жизнь текла своим порядком. Там тоже заключались браки. Сначала вышла замуж Марья Львовна.

О себе писать трудно и длинно, — гласило полученное мною от нее письмо: — попробовала в первом письме, и ничего не вышло. Я выхожу замуж за своего родственника Оболенского, которого вы, кажется, видели у нас. Лето мы проводим в Овсянникове, так что Танина дача не останется пустой, и это ужасно меня радует. Еще одно лето около papà и рядом с Марьей Александровной. Всё это ужасно мне улыбается.

Всё лето думаю употребить на приведение в порядок всех бумаг papà, чтобы осталось всё после меня ясно и аккуратно. Папа очень любит моего будущего мужа. Мне очень радостно и хорошо, хотя я пережила тяжелую зиму. Папа здоров и пишет статью об искусстве. Скоро едем в Ясную.

Целую вас, милая Л. И. Ваша Мария Т.

Татьяна Львовна вышла за вдовца с детьми, за М. П. Сухотина, а Андрей Львович женился на О. К. Дитерихс, сестре А. К. Чертковой.

Хотелось мне повидать мою милую Марью Львовну в новом образе Оболенской и, списавшись с ней, я поехала в Москву.

Прежде всего я зашла к Анненковым. Леонила Фоминишна Анненкова была большой почитательницей Льва Николаевича, который, в свою очередь, питал к ней большую симпатию и называл ее золотым человеком. Леонила Фоминишна вполне усвоила религиозные взгляды Толстого, что его радовало и располагало к ней. Анненковы жили в деревне, но каждый год приезжали на несколько месяцев в Москву, чтобы пожить вблизи Льва Николаевича, „темный“ кружок которого составляли теперь Русановы, Дунаевы, Горбуновы, Страховы и проч.

Мы поехали вместе с Леонилей Фоминишной в Хамовники. Войдя в переднюю, мы услышали звуки балалайки и пение. Прислушавшись к словам песни, Леонила Фоминишна покачала головой и наставительно сказала: „Казалось бы, что в доме Льва Николаевича как будто и не пристало петь такие песни.

Я вбежала наверх и уже на лестнице увидела М. Л. Оболенскую, еще более худенькую, еще более бледную, чем прежде, но счастливую и довольную, с доброй улыбкой и глубокими ясными глазами.

Она очень жалела, что я сегодня мало увижу ее мужа. Он ушел в театр с Андреем Львовичем, но я должна его дожидаться, а завтра пообедать с ними.

Обе молодые пары, и Оболенские и Толстые (Андрей и Ольга), гостили у родителей в Хамовниках. Слабенькая и хрупкая Марья Львовна, хоть и нюхала Lavender Salts, выглядела беспрдельно счастливой. Красивая Ольга Константиновна казалась не то слегка обиженной, не то желающей чего-то большего. Впрочем, она была заметно довольна тем, что вошла в знаменитую семью и не без гордого удовлетворения произносила: папà, мамà...

Марья Львовна рассказала мне, что она должна была обегать всю Москву, прежде чем нашла священника, который согласился бы обвенчать ее (Лев Николаевич был уже отлучен от церкви). Еле-еле она набрела, наконец, на такого, который удовлетворился тем, что она верит в бога и была окрещена по обряду православной церкви. Татьяна Львовна тоже венчалась в церкви. Папà, конечно, не был ни на той ни на другой свадьбе.

Льву Николаевичу нездоровилось, и Марья Львовна попрежнему окружала его своими заботами. Полюбив всем сердцем мужа, она продолжала любить и отца больше своей жизни. Когда подали самовар, Марья Львовна стала варить для него яйца, а Лев Николаевич попросил Анненкову прочесть ему в „Неделе“ статью Меншикова о Неплюеве.

Когда она дочитала, я рассказала, что встретила Неплюева в первый раз у Н. П. Вагнера, куда его привезла М. Н. Щербатова. Он сразу не понравился мне и своей накладкой на лысой голове и бриллиантовыми запонками, а главное тоном, которым он говорил о Евангелии. Потом он приезжал

ко мне в Царское, уже без накладки, а лысым, и опять мне не понравился, хотя был очень любезен и оставил мне в подарок ноты своего сочинения. Мне претило, что он пересыпал славянские тексты французскими словечками. Я спросила, не мешает ли ему его богатство? Он заметил, что богатство не только не мешает, но дает возможность осуществлять все заветы Христа...

Позже мне показали группу его „братчиков“ и томик стихотворений одного из них. Молодой Леяков воспевал в стихах и красоту наружности и красоту добродетели Николая Николаевича Неплюева. После чтения этих стихов он мне окончательно опротивел.

В июне 1901 года Марья Львовна писала мне:

Хоть два слова хочется написать вам. Михаил Осипович все расскажет вам о papà, слава богу теперь утешительное. Мы с вами очень давно не видались, но я чувствую, что мы очень близки, и увидаться с вами было бы для меня большой радостью. Советую приехать к нам приблизительно через недельку, когда papà будет на ногах. Писать сейчас совсем некогда. Целую вас крепко. Всегда, когда я слышу о вас, и когда слышу, что и вы меня помните и немножко любите, — мне это большая радость. Спасибо вам.

17 июля 1901 г.

Ну вот, Л. И. милая, какая вы немилая, что не приехали к нам. Мама смеется и говорит: — Л. Ив. всегда *se fait prier*, точно она не знает, что мы все были бы ей так рады. А я все поглядывала: как едет извозчик, — не вы ли, и как несут телеграммы, — не от вас ли. У нас теперь тихо. Папа

хорошо поправляется, — так бы хорошо, кабы вы были с нами. Сейчас здесь только мы с мужем да два случайных француза, которые завтра уезжают. Я сейчас еще здесь, потому что ждала вас, а теперь, если все будет хорошо, уеду через дня три домой. Надо кончить и отправить за границу статью папá о рабочем вопросе. А дальнейшие планы у нас вот какие: в конце августа (к 28) — сюда, а в сентябре все, т.-е. папá, мамá, Саша, Таня et С — ие и мы с мужем, — все едем в Крым для папá, от лихорадки, может-быть, на всю зиму. Только это, конечно, если бог даст. Так теперь жутко стало загадывать что-нибудь для папá. Лидия Ивановна, а, может-быть, вы все-таки соберетесь в Ясную? Тогда напишите мне, и я тоже приеду или, может-быть, мы вместе от меня приедем, если вы, правда, приедете ко мне. Это было бы очень весело и хорошо. Мне всегда совестно, когда ко мне приезжают, — мне все кажется, что так у меня скучно, что я не могу вознаградить за приезд ко мне. Но я этого не буду думать, раз вы приедете, и только буду очень, очень рада, благодарна и тронута.

Любящая вас очень Мария Оболенская.

Сейчас еду навестить Марию Александровну, которая хворает бронхитом.

31 июля 1901 г.

Дорогая Л. И. Пишу вам, чтобы сказать, что я опять в Ясной, куда меня нарочным вызвали из Пирогова по случаю болезни папá. К счастью, этот раз болезнь легче, но это все та же противная лихорадка и с ней вместе — ослабление сердца. Опять был маленький жар, боли в суставах, опять стеснение в груди и боли в области сердца, и опять неправильный пульс с перебоями. Я приехала вчера. Сегодня ему уже немного лучше, только он очень слаб, и все еще пульс нехорош. Принимал хину,

может-быть от этого жару не было. Сейчас пишу вам, сидя в зале. А он тут же лежит на кушетке и читает. Узнав, что я пишу вам, он говорит: „Смотри же, получше поклонись ей от меня и скажи, что я рад был видеть ее портрет в сборнике писателей“. Он очень много пишет всё это время и духом, конечно, как всегда, хорош и бодр. Я очень тороплю отъезд в Крым, думаю, что ему это будет полезно, тем более что ему хочется ехать. Мы будем все жить в Симеизе, на даче Паниной. Я начала писать вам, главным образом, чтобы сказать, что я теперь уже не уеду домой, а пробуду всё время здесь, и если бы вы собрались сюда, это было бы так хорошо. Я радовалась, что буду вас у себя принимать, и теперь жалею, что это не выйдет. Но верю, что когда-нибудь вы ко мне приедете. Напишите о себе.

Любящая вас Мария Оболенская.

В следующих письмах из Гаспры Мария Львовна сообщала о некотором улучшении в здоровье отца и звала меня в Крым. Льву Николаевичу очень там нравилось. 24 января 1902 года она писала:

Милая Л. И., все это время у нас очень смутное, тревожное. Папа все нездоров: то одно, то другое, — и не выходит из болезней. То слабость сердца, то лихорадка, то живот и, главное, общая слабость, какой прежде не было.

Очень грустно и тревожно это видеть и, главное, грустно, когда чувствую, что и ему это тяжело.

Он говорит, что это очень хорошо, что так и должно быть, что если так подходит смерть, то это хорошо, потому что он в полном обладании умственных и духовных способностей; но физически чувствую, что ему тяжело; он так не привык жить хилым стариком и так несвойственно ему это

состояние. Он все приводит народный стих, приведенный в фельетоне Бурениным:

Зачал старинушка покашливать,
Зачал старинушка покряхтывать;
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку, во могилушку, —

и ему очень нравятся эти стихи и умиляют его.

Сегодня уехали доктора: из Петербурга — Бертенсон и из Москвы — Щуровский. Консилиум решил, что запущенная малярия, очень плохое состояние кишек и печени, ослабленная деятельность сердца (что знаем мы все, живущие со Львом Николаевичем). Предписал: диету, спокойствие, отсутствие движений. Лекарства: каломель, строфант, масляные клистиры. Для этого положительно не стоило ехать тысячи верст. Все это, кроме каломеля, производилось и без них. А то, что нужно действительно: спокойствие, тихая жизнь, одиночество и отсутствие излишней внутренней борьбы из-за мелочей и дразг жизни, — этого достигнуть нельзя или очень трудно. Так хотелось бы взять его и, никем невидимо, увезти его туда, где можно было бы окружить его одной любовью, спокойствием, людьми только близкими и дать ему всё, что можно лучшего и любовного. Окружить бы его всем мягким, тихим, радостным, — и я ручаюсь за десять лет его жизни. Я не хочу закрыть для него жизнь, весь мир с его волнениями, борьбой и злом, но к нему близко, касаясь его, пусть будет одна любовь. Ну, да что говорить о том, чего нельзя! Надо по мере сил и так этого достигать, а там — что бог даст. Таня уехала за своими в деревню и привезет сюда своих детей и мужа. Я тоже переехала в Гаспру. Домой уедем не раньше мая, коли живы будем. Не хочется, жутко загадывать. Теперь очень будем вас ждать.

Я говорила папá о том, что вы пишете о Горьком, и он сказал, что это совершенно верно. А Горь-

кий здесь живет и постоянно к нам ходит. Он очень симпатичен, прост, и папá говорит, — очень хороший малый. Папá очень восхищался некоторыми вещами Вересаева, но на-днях мы прочли в „Мире Божьем“ начало его повести и огорчились: очень слабо. Папá огорчается, что всем им, и Чехову в том числе, нечего сказать. Таланты есть, а определенных взглядов нет и поэтому — вода. Ну, пока прощайте, дорогая. Вот и устала. Я всё больна, всё так же кисну физически, а внутренне мне хорошо. Крепко целую вас, как люблю. Так приезжайте же. Ваша Мария Оболенская.

14 февраля 1902 г.

Милая Л. И. Не судьба моим письмам кончаться и достигать вас. Два раза начинала писать и не кончала. У нас болезнь папá всё затягивается. В день кризиса, который был такой страшный, жуткий, и который, слава богу, прошел благополучно, оказалось, что в правой стороне захватился новый фокус, и кризис был не общий, а частичный, только для левой стороны, а в правом всё еще сидит воспаление и разрешается необыкновенно медленно и вяло. Поэтому всё время подъем температуры, и нет конца этой болезни. Одно хорошо — что сердце теперь не угрожает, и поэтому больше надежды, что он вынесет. Слаб он так, что с трудом выговаривает слова. Двигаться на постели без посторонней помощи совсем не может. Кормлю его с ложки как маленького. Духом очень хорош. Говорит, что чем физически слабее, тем духовно сильнее, чище и выше. И когда ему сказали, что опасность миновала, — он сказал мне, что ему жаль расставаться с готовностью к смерти. Теперь он большей частью молча лежит и просит тишины. Меня мучило, что я не знаю его внутреннего состояния, и вчера я у него спросила: „что ты чувствуешь?“ Он говорит: — „Физически так слаб, что

кажется, дунуть, и дух вон“. — „А душевно тебе не скучно?“ — „О, мне так хорошо, очень, очень хорошо“.

Ну, кончаю. Сейчас утро; папá после бессонной ночи спит. Мама́ наверху тоже, а я сижу и слушаю старика. Иногда пугаюсь его дыханием, — считаю: оказывается более или менее нормальным. Иногда злюсь на шум в соседних комнатах и бегу укрощать. Иногда подхожу и считаю пульс. Иногда он во сне что-нибудь скажет, — тихо подойдешь, — а он спит. И так, сидя, карауля его, мне так хорошо, в таком я хорошем, тихом, значительном мире, что когда выйдешь ко всем, так всё дико и скучно там, и хочется скорее в его темную комнату. Прощайте, всего, всего вам хорошего. Муж садится на мое место и гонит пить кофе. Целую вас крепко. Привет Михаилу Осиповичу. Его слова еще не пришлось передать папá.

Ваша М. Оболенская.

На одном из открывшихся в Петербурге в 1902 г. религиозно-философских собраний я встретила Льва Львовича Толстого. Он рассказал мне, что отец его теперь совсем поправился, ездит верхом и пишет, как прежде. Лев Львович сказал, что я совершенно напрасно стесняюсь ехать к ним, думая, что им не до гостей. Все равно, у них постоянно гости. Я решила воспользоваться этим сообщением и приглашением, съездить взглянуть еще на прощанье на Льва Николаевича и больше уже не беспокоить их.

Не останавливаясь в Туле, прямо с вокзала я поехала на извозчике в Ясную. В доме уже горели вечерние огни, когда я подъехала к знакомому крыльцу. Поднявшись, я увидела в первой комнате,

налево от лестницы, группу незнакомой мне молодежи около пишущей машины. Единственным знакомым мне лицом оказалась Юлия Ивановна Игумнова, художница и друг Толстых. Она сказала, что графиня внизу и занимается музыкой, а Лев Николаевич — у себя, то-есть в бывшей гостиной графини, куда его перевели, боясь для него сырости внизу. Сейчас он не спит и не работает. И она провела меня к нему. Лев Николаевич, почти не постаревший и не изменившийся, сидел в покойном комфортабельном кресле, хорошо и тепло одетый. Ноги его были бережно закутаны дорогим пледом, и в этой позе, с чистенькой книгой „Русской Старины“ в руках, он выглядел совсем графом, а не пахарем.

Он ласково приветствовал меня и сказал, что может теперь похвалиться здоровьем. Но и хворать было хорошо, очень хорошо. Он спросил, хворала ли я когда-нибудь серьезно.

— Да, и в детстве я была при смерти и помню об этом, хворала и позже, по выходе замуж.

Лев Николаевич стал говорить (точных слов его не помню) о том, что болезнь лучше учит, чем здоровье, чтоб в виду ее ясно увидеть и свою жизнь и свои отношения к богу и к людям. Не пугаться надо болезней, а всегда радоваться им.

Я совершенно с этим согласилась, но прибавила:

— А вы все-таки не хворайте.

— Да вот и перестал, — сказал он. Потом он сообщил, что у него только-что были Розановы, муж и жена. Если бы я приехала чуть-чуть раньше,

я застала бы их здесь. И мы заговорили о религиозно-философских собраниях, о которых Лев Николаевич уже слышал и от Розановых и от Льва Львовича. Может-быть я ошибаюсь, но мне показалось, что Льва Николаевича неприятно удивляло, что в таком собрании не говорили о нем и о его проповеди. Как же, в самом деле, собирается огромное количество неверующих и отошедших от церкви интеллигентов, твердят о необходимости новой религии и молчат о проповеди Толстого? Нет, каждый усердно тащит свой собственный кирпичик для этой новой вавилонской башни, пренебрегая готовым зданием толстовского учения. Вообще Лев Николаевич недоумевал, для чего эти собрания устраиваются совместно с духовенством, и думал, что долго они, во всяком случае, продолжаться не будут.

Вошла графиня, сияющая избытком сил и здоровья, и заговорила о Тане и Маше, об их жизни и обстановке, об их заботах и надеждах. Мне очень недоставало обеих старших дочерей. Их присутствие в доме всегда вносило атмосферу свежести, сердечности, веселости и поэзии.

Перед чаем я увидела в зале раскрытый ломберный стол с мелками и картами.

— Вас это удивляет? — спросила графиня. — Что делать? Он уже не может заниматься умственной работой как прежде. Нужно какое-нибудь развлечение. Прежде он очень любил карты. А теперь это ему отдых.

Не помню, кто из детей сел играть с ним в винт: Лев Львович или Саша, или оба вместе и еще

кто-то из своих четвертым, но помню, что графиня называла это „семейным винтом“.

Гостей было много. Все они здесь, повидимому, жили. Я сказала графине, что Чехов стесняется ехать к ним в деревню, зная по опыту, сколько всегда хлопот его сестре и матери с этими простынями и наволочками для гостей. Графиня возмутилась этим и сказала:

— Ну, вот, Чехов... стесняется, а бог знает кто едет без стеснения.

За чаем и после чая мы всё время говорили о наших заграничных друзьях. Говорили и о Канаде, о духоборах. Теперь надеялись выхлопотать Петру Веригину разрешение уехать к ним. Конечно, при нем у них лучше все наладится.

Пока мы беседовали, из отдаленной комнаты доносились взрывы неистового хотота. Лев Николаевич прислушался и сказал:

— Это доктор. Верно почту привезли.

Он рассказал мне, что какой-то субъект, из православных, осыпает его наставлениями и ругательными письмами. Лев Николаевич их не читает, но доктор очень ими потешается и вступил даже с автором писем в полемику от своего имени. Действительно, через минуту доктор вошел к нам и, захлебываясь от смеха, стал читать отдельные фразы из длинного письма, мало интересовавшего Льва Николаевича.

Вечером графиня сама провела меня в белый сводчатый кабинет, увековеченный Репиным.

Когда она ушла, мне что-то показалось, что здесь ужасно грустно. Отчего? От мысли, что Лев

Николаевич уже ушел из своей рабочей комнаты, в которой столько потрудился. Но ведь он вернется туда с теплом?

Проснувшись утром, снова вижу картину Репина. Лев Николаевич мирно поживает еще этажем выше. Одевшись, иду к няне, с которой не удалось поболтать накануне. У нее сидит уже гостя, бывшая Саша, ныне Александра Львовна. Меня принимают в компанию, и няня угощает нас у себя чаем. Александра Львовна еще не одета и сидит с распущенными волосами, в белой ночной кофточке, положив оба локтя на стол.

Няня усердно пробирает ее за неблагоразумие.

— Ну, как же? Здоровье не бережет. Большая девица, а сама как маленькая. Вчера нездоровилось, а она в снег по колено лезет. Ноги промочила; потом лечиться придется. Хорошо это разве?

Я смотрю на них и говорю:

— Точно сцена из Онегина „Татьяна и няня“.

Александра Львовна поднимает на меня свои хорошие честные глаза и мычит:

— Ну, уж и Татьяна. А няня, не разобрав в чем дело, подхватывает с удвоенной строгостью:

— Да, да. И будешь как Татьяна Львовна. Та тоже долго разбирала.

Саша качает головой и смеется. А мы с няней, вздохнув о ее молодом легкомыслии, принимаемся вспоминать Ванечку. Потом, поблагодарив за чай, поднимаемся с Александрой Львовной по знакомой внутренней лесенке в ее комнату, далеко не похожую на комнатки ее сестры. У нее большая просторная комната, перегороженная надвое крепконо-

вой драпировкой, уставленная кретоновыми диванами и креслами. Впрочем, Александра Львовна тут же заявляет мне, что ей ничего этого не нужно а стоит это все так, неизвестно для чего. Причесавшись и одевшись, она идет в бывшую детскую, где уже набралось изрядное количество деревенских ребятишек с букварями и тетрадками. Вместе с молодой княжной Оболенской Александра Львовна приступает к обучению грамоте яснополянских ребят. Учит по азбуке отца, и учение идет успешно... Звонят к завтраку, дети отправляются домой. Но одного мальчуганчика задерживают, поят в столовой чаем и дают еще чего-то съестного на дорогу. После завтрака Лев Николаевич уходит один гулять. Графиня очень тревожится и твердит с беспокойством: „Как я боюсь, как я боюсь... Конечно, он не привык ходить один. Непременно надо, чтобы кто-нибудь следил за ним издали. Маша это как-то умеет.“ А я очень боюсь. Раз уж он упал. Да, упал, и расшибся. Ведь он слабеет. Он не хочет сознаться, но он очень ослабел. Надо Саше сказать, чтобы она смотрела хоть издали. Случись что... Конечно, если он увидит, что следят, он будет недоволен. А как же за него не бояться!“

Потом графиня рассказывает мне что́ они переживали в Крыму, когда он заболел. Вообще, там было трудно. Огромное роскошное помещение. Дача на юру, ветер, было холодно, натопить нелегко. Нужно было много прислуги. Всех их накормить надо. Провизию приходилось по телефону заказывать в Ялте, присылали мерзлую и страшно дорого.

Лев Николаевич возвращается со своей прогулки вполне благополучно, и графиня успокаивается. Александра Львовна предлагает мне пройтись с ней до конюшни, где ей выводят и показывают лошадь.

После обеда я сижу в комнате Льва Николаевича. При каждой встрече один из его первых вопросов: „что вы читали?“ Сам он читает поразительно много и умеет находить ценные новинки в литературе всех народов. И толстовцы читают все, что ему понравилось. У меня с собой маленькая дорожная книжка Анатоля Франса, которой Лев Николаевич еще не видал. Он берет ее почитать. Говорим о Чехове и его пьесах. Лев Николаевич высоко ценит Чехова — и его удивительный талант и его юмористические нотки. Очень ему нравится „Моя жизнь“. Он восхищается „Душечкой“, — и особенно телеграммой со словом „сючала“. Лев Николаевич много раз повторяет это „сючала“, прибавляя: „Как он это схватил удачно. Как вы думаете: какое это слово?..“ Но пьесы ему не нравятся. О „Чайке“ он говорит: „Это бог знает что! Сплетение сумбурных положений, в которых не разберешься“. А мне „Чайка“ нравится. Я рассказываю Льву Николаевичу о письме, которое Чехов написал Меншикову, встревожившись болезнью Льва Николаевича. Он писал, что когда мы останемся без Толстого, то останемся и без литературы, так как с ним окончательно исчезнет вкус, понимание, строгое отношение к делу, и останется какое-то беспастушное стадо.

Входит Лев Львович. Он снова вегетарьянец, как его отец. Живя в Петербурге, он вступил

в вегетарьянское общество. Он говорит нам что-то о роли орехов в питании и собирается даже ехать в Тулу за орехами; ближе их не достать. Затем он вспоминает, что обещал председательнице вегетарьянского общества, моей знакомой, карточку отца с его подписью. Он просит отца дать такую, а меня передать ее этой особе в Петербурге. Лев Николаевич открывает ящик стола и достает изрядный запас фотографий, снятых с него в Крыму. Я прошу карточку и для себя и выбираю очень похожую, в белом халате, похожем на больничный. Но Лев Николаевич, взглянув на нее, морщится и говорит:

— Ну, нет уж: только не такую.

— Так выберите сами.

— Он выбирает свое изображение в профиль, в пальто и в шапке, сидящим на балконе, среди цветов, и, подписав ее, говорит:

— Уж лучше эту; все-таки пококчетливее.

За чаем Лев Николаевич возвращает мне книжку Анатоля Франса: он прочел ее, но понравились ему только два рассказа: о маленьком трубочисте и „Crainquebille“. Тут же за столом Лев Николаевич читает сам вслух всем присутствующим первый рассказ, а мне предлагает прочесть второй. Затем он приносит из своей комнаты „Стрелы“ Буренина, и кто-то из гостей начинает читать одну пародию за другой при всеобщем хохоте.

На следующий день приезжают еще новые гости: утром Нагорнова, а к обеду Гольденвейзер. Снова переночевав в знаменитом кабинете „Пахаря“, я все утро провожу у графини, которая дает мне прочесть

свой рассказ, а потом ту тетрадь дневника Льва Николаевича, в которой он изливал свои ощущения жениха. Она показала и свою карточку невестой, стройной, красивой, привлекательной.

За обедом говорили о Веригине, который благополучно прибыл в Канаду, о том, что женевские толстовцы, отдававшие своих детей в швейцарские школы, были в них очень разочарованы, и вообще о том, как живут наши друзья в Онех и в Tucktonhous'e.

После обеда на смену вчерашнему литературному вечеру последовал музыкальный. Кресло Льва Николаевича перенесли в залу, и, сидя в нем, он вместе со всеми слушал артиста. Гольденвейзер играл и классиков, и Рахманинова, и Аренского. Помню, что когда в первый мой приезд говорили о музыке и я сказала, что больше всех люблю Моцарта, графиня заметила: „и Лев Николаевич любит больше всех Моцарта“.

И пока Гольденвейзер играл одну прекрасную вещь за другой, я смотрела на Льва Николаевича и чувствовала и угадывала, что́ ему нравится больше, что́—меньше. И я чувствовала, что несмотря на все чары музыки и Лев Николаевич думает и помнит, как и я, что хоть музыка и прекрасная вещь, но что хороший музыкант все же немногим больше хорошего повара.

Концерт кончается. Лев Николаевич говорит мне, что теперь лучшим композитором будет тот, кто совершенно незнаком с творениями своих предшественников, такой, который не будет знать ничего из того, что играли до него.

— Снова первый портной?

— Да. И Лев Николаевич развивает эту мысль. Не только в музыке, но и во всем, во всех других искусствах важно не быть связанным внушениями своих предшественников: надо быть вполне свободным и творить смело, не оглядываясь на загромождающие образцы. Старое только мешает.

Начались ужасы войны. При таком горе было уже не до разъездов. Я получала от времени до времени сообщения о здоровье Льва Николаевича и Марьи Львовны, о болезни графини, о перенесенной ею операции. А в 1906 году я получила горестное сообщение о смерти дорогой Марьи Львовны. Она умерла в Ясной, и, узнав об этом, я сейчас же написала бедной графине, которую я любила, уважала и ценила попрежнему.

Письмо Софьи Андреевны 7 декабря 1906 г.

Дорогая Л. И., как вы хорошо отнеслись к нашему горю и какую верную, нежную оценку сделали нашей Маши. Это—лучшее участие и лучшее утешение нам. Только-что я перенесла жестокие физические страдания, и вот опять приходится мучиться, но уже худшими душевными болями. Мучительно возникает мысль, что, ожив после опасной операции, я точно отняла жизнь у Маши. В одну неделю унесло ее сильнейшее крупозное воспаление легкого, не уступавшее ни на минуту никакому лечению. Жар от 40,5 до 41,3 буквально сжег ее слабенькое, хилое тело. Она бредила невнятно, редко опоминалась и тотчас же кого-нибудь приласкает, скажет: „Милый папаша“ или „Как поживаете, мамаша? Сядьте около меня. Дайте руку“. А то просила отца: „Не уходи“. В день смерти она

и вдруг начала горько плакать, обняла мужа и через некоторое время едва понятно произнесла: „умираю“.

Ей, повидимому, не хотелось умирать. Она еще недавно говорила, что она так счастлива. И все что-нибудь отклоняло ее от возвращения домой, в ее имение. То получили записку о том, что мужики хотят убить ее мужа, то пути не было, то нездоровилось, и так она прожила у нас три месяца и кончила жизнь там, где ее начала. И хорошо. Народ так трогательно жалел ее; она с нашими крестьянами и работала и лечила их, вообще дружила с ними. Последние минуты ее были необыкновенно трогательны. Ее посадили, потому что ей трудно было дышать. Лев Николаевич все время держал ее руку. Голову Маша склонила немного набок, глаза были закрыты, но выражение ее лица и весь облик были прелестны и умирительны. Точно она кротко покорилась смерти и тихо приняла ее. Ее исхудалое лицо так живо напоминало мне похожего на нее Ванечку. Те же духовные задатки, которые так сильно проявлялись в Маше, когда она была девушкой, и так видны были в Ванечке уже с детства. Мы лишились в Маше того неутомимого участия, которое она всегда проявляла, и той опоры отцу, которого она так безгранично любила, без рассуждения, без критики, всецело... Идя на смерть, перед операцией, я поручала Маше Льва Николаевича, прося ее никогда не оставлять его. Могла ли я думать, что она нас оставит? Лев Николаевич спокойно и мудро переносит это горе. Он смотрит на смерть как на нечто обыденное, не то что мы, слабые люди, которым потеря близких кажется чем-то особенно тяжелым.

Никогда не зажила во мне рана, нанесенная смертью моих детей, особенно Ванечки, и теперь до конца дней придется нести новое бремя, но видно

это всегда так у нас, матерей. Не забывайте нас, посетите нас и знайте, что неизменно, с любовью всегда относилась к вам прежде и буду относиться всегда и впредь.

С. Толстая.

Но больше мне не довелось побывать в Ясной Поляне и повидать Льва Николаевича и его родных.

ДОСТОЕВСКИЙ

Как-то знакомая молодая девица, Верочка Витте, стала мне рассказывать, что каждую субботу она бывает в семье Штакеншнейдер. У них собираются писатели и читают свои новые произведения. Подметив, что я с особенным вниманием выслушивала все, относящееся к Достоевскому, она сказала мне:

— Вы хотели бы повидать Достоевского?

— Конечно, хотела бы.

— Хотите, я сегодня же пойду к Елене Андреевне и попрошу позволения привести вас к ним в эту субботу?

Позволение было дано, и в первую же субботу я отправилась с Верочкой и ее матерью к новым знакомым. Штакеншнейдеры мне очень понравились, особенно старшая дочь хозяйки, Елена Андреевна, пожилая, болезненная девушка, на костылях и с большими ногами, умная, добрая и приветливая. Поговорив со мной об общих знакомых и об общих литературных симпатиях, Елена Андреевна сказала мне с соболезнованием:

— Достоевский-то, кажется, сегодня и не будет. Говорят, у него вчера припадок был.

Но я так волновалась с утра, что была уверена в том, что увижу его, и сказала:

— Может-быть еще придет.

Она покачала головой:

— Вряд ли. Ну, сегодня вы хоть других посмотрите.

В гостиной уже сидели Майков и Полонский с женами, Аверкиевы, Загуляевы, Страхов, Берг, К. К. Случевский, дамы и девицы.

В центре дамской группы сидела очень красивая молодая женщина, элегантно одетая и причесанная, и работала, то-есть грациозно поворачивала в красивых белых руках какую-то изящную работу. Мне сказали, что это приятельница Елены Андреевны, Марья Николаевна Б., очень одаренная личность. Она прелестно рисует, пишет, декламирует, играет на сцене; при этом хороша как ангел и несчастлива в семейной жизни. Показали мне и жену Полонского, тоже красивую и молодую, известную своим талантом скульптора. Самого Полонского я сразу узнала по виденным раньше портретам. Услыхав, что он на „ты“ с Еленой Андреевной, я спросила ее:

— Яков Петрович вам родственник?

— Она улыбнулась и сказала:

— Нет, мы с ним только друзья. Но мы такие друзья, что придумали себе сами родство. Он зовет меня теткой, а я его — дядей. Но он мне столько же дядя, сколько я ему тетка...

Старушка-хозяйка, ласковая и приветливая, немного глухая, гостеприимно улыбалась на все стороны и, сидя подле лампы, вязала одеяло из пестрой шерсти. В раскрытые двери соседней комнаты виднелись карточные столы и играющие за ними. Разговор в гостиной сделался общим, когда речь зашла о бывшей в то время выставке картин Верещагина. Все напереерыв высказывали свои впечатления. Мнения расходились, голоса возвышались.

Кто-то позвонил. Вошли Достоевские.

Сквозь туман и лихорадку я увидела хорошо знакомое по фотографиям некрасивое, болезненно-бледное лицо с русой бородой, с умным сморщенным лбом и пронизательными глазами. С Достоевским вошла и его жена, Анна Григорьевна, в сером платье и в наколке с красной отделкой. Вошедшие поздоровались с хозяевами и с гостями и сели.

Спор о выставке возобновился, но уже без прежнего оживления. Мне показалось, что Достоевский внес некоторое стеснение. Его точно сторонились и побаивались. Сам он говорил мало, но выражение его подвижного и нервного лица ясно говорило, что он думает о каждой произнесенной фразе. Одного из присутствующих поэтов стали просить прочесть его стихотворения; тот отнекивался, говоря: „Федор Михайлович стихов не любит“. Достоевский сказал: — „Хорошие люблю“.

Елена Андреевна стала декламировать новое стихотворение другого поэта. Она читала негромко, не для всех, только для близко сидевших. Достоевский слушал внимательно, то одобряя, то усмехаясь, то покачивая головой. В своем стихотворении поэт, говоря о заходящем солнце, называл его: „пылающий мертвец“... Достоевский пожал плечами:

— Отчего „мертвец“? Ну, „пылающий“, — пускай „пылающий“, но зачем „мертвец“? — Дальше он придрался еще к одному выражению и сказал: — Так не говорят.

Елена Андреевна вступилась за поэта:

— Ну, в стихах можно. Ведь это стихи. — Достоевский сказал: — Тем более. В стихах язык должен быть еще чище.

Недалеко от меня, с другой стороны, сидела Анна Григорьевна и рассказывала о своих детях. Вечер пролетел скоро и незаметно. Не было никаких особенно интересных литературных споров, ни разговоров. Достоевский говорил мало и казался усталым и нездоровым. Но я все же была в восхищении от этого вечера и, воротясь домой, радостно записала в тетрадке: „сегодня я видела Достоевского...“

Целую зиму я ходила на субботы к Штакеншнейдерам и часто видела у них Достоевского. Пока его не было, я тоже не выходила в гостиную, а сидела где-нибудь в задних комнатах, играла там с маленьким Алешей, внуком хозяйки.

Зная о моем пристрастии к Достоевскому, Алеша от времени до времени убегал к дверям гостиной и, спрятавшись за красной портьерой, высматривал гостей. Потом он возвращался ко мне и говорил: „нет, его нет-с, нет; извольте здесь оставаться“... или кричал: „пришел, пришел, пришел!“...

Тогда и я выходила в гостиную и, усевшись где-нибудь в уголке, неподалеку от Достоевского, целый вечер смотрела на него и слушала его. Не помню, чтобы он вел споры, хотя многие из гостей Штакеншнейдеров не соглашались с его мнениями. Но я что-то не помню, чтоб ему возражали. И когда он говорил у Штакеншнейдеров, он говорил по большей части один или со слабыми репликами и вопросами со стороны дам. Говорил он очень хорошо, горячо, красиво и убежденно. Он громил католичество и папство, громил гнилой Запад с его культурой и жизнью, в которой все подкопано,

расшатано и, не сегодня — завтра, рухнет и исчезнет, а на смену этой жизни явится нечто новое, еще небывалое и неслыханное, ни на что прежнее не похожее. Он говорил не раз, что „нищей земле нашей суждено может-быть сказать новое слово миру“. Он горячо верил в высокую миссию русского народа, в силу народа (которую он видел в его терпении и выносливости), в будущность русского народа. Он постоянно и охотно возвращался к этому:

„Назначение русского человека — всеевропейское и всемирное. Гений русского народа наиболее способен из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, разлагающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия...“ Достоевский утверждал, что русское интеллигентное общество может излечиться, обновиться, воскреснуть, только присоединившись к правде народной, уверовав в дух народный. Оно может ждать спасенья только от народа, потому что в народе есть праведники.

Я слушала вдохновенные пророчества бледнолицего старика, зная, что далеко не все так думают, как он. Я знала, что Салтыков, признавая за ним первостепенный талант, жалеет о том, что талант этот отдает себя на служение самым „уродливым тенденциям“, на восхваление их...

Я поглядывала на Елену Андреевну, на Полонского, на Страхова. Все это были единомышленники, правда каждый немного на свой образец, но все же единомышленники. Невольно я переводила

взгляд с безмятежной и невинной физиономии Страхова на судорожно возбужденное, замученное лицо Достоевского, на его горящие глаза и думала: „Какие они единомышленники?.. Те любят то, что есть. Он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть, он—за то, что придет или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждет, так жаждет того, что должно прийти, значит он не так уж доволен тем, что есть“.

И я снова ловила звуки его тихого, нервного голоса, снова слышала о Христе, о христианстве, о церкви. Католичество выродилось в идолопоклонство; протестантство вырождается в атеизм. Где же истина, где спасение? — У нас. Наша нищая земля скажет в конце концов миру новое слово.

Редкую субботу у Штакеншнейдеров не было чтения. Авторы читали свои произведения. Марья Николаевна декламировала стихи. Конечно, не всегда эти чтения бывали одинаково интересны. Бывало и так, что слушатели, зевая, чуть не сворачивали себе челюсти. Но бывали и очень удачные вечера. Марья Николаевна вместе с С. В. Аверкиевой, которая тоже прекрасно читала и, кажется, даже была некоторое время на сцене, затеяли поставить спектакль. Пробовали было „Русалку“. Остановились на „Каменном госте“.

В вечер спектакля Достоевский привез вдову Алексея Толстого и ее племянницу Хитрово. Дамы эти заняли места в первом ряду подле хозяйки и других почетных гостей, а Достоевский и Елена Андреевна сели в последних рядах. Мы же, девицы и поклонницы Федора Михайловича, поместились

в следующем за ними ряду, чтобы быть поближе к Достоевскому.

Публика разместилась. Прозвонил колокольчик; сестры Назимовы сыграли в четыре руки увертюру из „Дон-Жуана“; занавес поднялся, и нашим взорам представилось кладбище Мадрида и два испанца — Дон-Жуан (Случевский) и Лепорелло (Аверкиев). Достоевский был в духе и очень оживлен. А когда неожиданно для него на сцене появился монах Страхов с четками и капюшоном, который как нельзя лучше подходил к его наружности, походке и голосу, Достоевский пришел в положительное восхищение и твердил:

— Как он хорош, как он хорош! Браво, Страхов. Вызывать Страхова!.. Страхова!..

Мы, поклонницы, подхватили это и принялись так шуметь, так аплодировать, что заставили Страхова выйти и раскланяться на все стороны. Затем спектакль пошел своим порядком. Актеры играли как почти всегда играют любители. Кроме супругов Аверкиевых, никто не умел ни ходить ни двигаться на сцене. Но выступая в прекрасных костюмах, все хорошо читали свои роли, разрешая себе от времени до времени более или менее соответствующий жест. Лаура (Марья Николаевна) сделала себе испанский костюм. Правда, в ней не было решительно ничего испанского, но декламировала она, как всегда, превосходно. Смело обратилась она к своим поклонникам, говоря:

Подайте мне гитару!..

Но едва гитара очутилась в руках Лауры, она вдруг совсем оробела и, волнуясь и даже меняясь в лице, спела дрожащим голосом романс:

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят...

Публика, видя ее смущение, разразилась аплодисментами. Марья Николаевна улыбнулась, оправилась и, уже не робея, с уверенностью спела свой второй романс, чуть ли не:

Шумит, бежит Гвадалквивир...

Потом Дон-Жуан заколол Дон-Карлоса, и Достоевский совсем развеселился. Когда на сцене выходило что-нибудь несуразное и неловкое, когда плохо декламировали, он смеялся чуть не до слез. Он захотел и сам играть и сказал Елене Андреевне, что непременно примет участие в следующем спектакле.

— Что же вы хотите играть?

— Отелло. Я буду Отелло...

Спектакль кончился. Достоевский встал и подошел к графине Толстой, а Елена Андреевна, обернувшись к нам, сказала:

— Слышали вы?.. Он тоже хочет играть. Ну, какой он Отелло... Но декламирует он превосходно. Я ему сказала, что вы—поклонницы его таланта, и он остался доволен, сказал, что обе—хорошенькие...

Мы отхлопали себе ладони. Кладбище Мадрида исчезло, сцену разорили, и актеры присоединились к зрителям. После чая Марья Николаевна, в испанском костюме Лауры, с успехом прочла нам „Грешницу“ Толстого. Случевский пел под гитару свои

стихи. Мы с Верочкой взяли по тому Достоевского: она — „Карамазовых“, а я „Преступление и наказание“ и пошли просить его тоже прочесть что-нибудь. Он снова сидел уже с Еленой Андреевной, когда мы подошли к нему с книгами и Верочка передала ему желание всего общества.

Он взял у меня из рук книгу, но, поморщившись на заглавие, сейчас же вернул ее назад, говоря: — Только не это...

Верочка подала ему свою книгу, но он поморщился и на „Карамазовых“ и стал что-то рассказывать Елене Андреевне. А мы в огорчении стояли перед ним с отвергнутыми книгами, не зная, как еще просить его.

Не дослушав того, что он ей говорил, Елена Андреевна перебила его, говоря:

— Что же, Федор Михайлович, тронетесь вы их просьбами? Взгляните:

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят...

Достоевский посмотрел на нас, усмехнулся и сказал:

— Хороша испанка, нечего сказать!

— Потом, обращаясь к нам, он прибавил:

— Уж читать, так читать что-нибудь хорошее.

Дайте Пушкина.

— Что вы прочтете? — спросила Елена Андреевна.

— Скупого рыцаря. Монолог старого барона.

Елена Андреевна кликнула клич, предлагая желающим взять остальные роли в этой пьесе. После недолгих совещаний чтецы нашлись и сели к столу,

а публика снова разместилась на сдвинутых с мест, беспорядочно расставленных стульях. (Не могу наверное вспомнить, кто именно читал. Кажется, Майков и Загуляев. Помню только, что Альбера читал Аверкиев).

Они прочли первую сцену и встали; за столом остался один Достоевский. В гостиной сразу стало тихо-тихо, слышно было как муха летит. И среди наступившей почтительной тишины он начал своим глухим, но внятным голосом:

Как молодой повеса ждет свиданья...

Прочел монолог превосходно. Я, по крайней мере, в жизни не слыхала лучшего чтения. А когда в конце третьей сцены он стал шептать, задыхаясь:

Ноги мои слабеют...

Душно... Душно...

Мы испугались, думая, что сейчас у него будет припадок. Но все кончилось благополучно. Он выпил стакан воды и поклонился публике при громе восторженных рукоплесканий.

Елена Андреевна очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его. Остальные гости Штакеншнейдеров чуждались его и упрекали его в резкости, раздражительности, гордыне и самомнении.

Елена Андреевна рассказывала мне о его молодости, о ссылке и других фактах его жизни, теперь уже всем известных по его биографии. Она хвалила Анну Григорьевну и находила, что она прекрасная жена и именно такая, какая ему нужна. Она ведет

все издательские дела и она же терпеливо нянчит этого большого, больного, непрактичного и беспомощного ребенка. Как-то Елена Андреевна приехала к ним и, войдя к Анне Григорьевне, услышала в соседней комнате слезные жалобы Федора Михайловича. Она спросила, в чем его несчастье. Оказалось, что он одевается, а в рукава поданной рубашки не вдеты запонки. И он чуть не плакал. При всех переездах он всегда забирал с собой множество книг, и беда была, если нужная книга не скоро находилась на новом месте. Бывало и так, что все уже уложено, и вдруг перед самым выездом является надобность в книге, лежащей на самом дне. Приходилось переворачивать все вверх дном и потом снова укладывать.

Говорила мне Елена Андреевна, что к Федору Михайловичу ходит много студентов и других представителей молодежи исповедываться, открывать ему душу и просить указаний и советов. Приходило и множество бедняков за материальной помощью, и всё люди незнакомые, так что у Анны Григорьевны есть на всякий случай коллекция карточек всех известных петербургских воров и мошенников. Кроме молодежи, воров и нищих, его осаждают еще и светские дамы, которые тоже ездят за разъяснением своих вопросов и сомнений и безбожно отнимают у него время, отрывая его от работы.

Быстро пролетела зима и пришла весна, принося с собой пушкинский праздник, на котором Достоевскому суждено было занять такое видное место.

В это лето я сделалась невестой. Осенью, вернувшись с дачи в Петербург, я поспешила сообщить мою новость Елене Андреевне. Она приняла меня

как родная и с большим участием отнеслась к перемене в моей судьбе. А я была так рада снова увидеть ее доброе серьезное лицо, ее гладкую прическу с прямым пробором и густыми, заложенными на затылке, косами, ее квакерское платье с большой темной пелериной и ее маленькие больные ноги, вытянутые на кушетке. И все такая же: милая, ласковая без слащавости, добрая без шума, умная без претензий. Семья переменила квартиру. Остались на Знаменской, но переехали в тот дом, где жил поэт Полонский. Теперь им можно было ходить к Полонским через кухни и черные ходы, что было удобно и Елене Андреевне и Якову Петровичу Полонскому. И „дядя“ и „тетка“ ходили на костылях, и одолеть высокую лестницу было тяжело для обоих.

Поговорили мы с Еленой Андреевной, конечно, и о пушкинском празднестве и речи Достоевского.

— А как его здоровье?

— Плохо. Он много работает и часто хворает. Продолжает „Карамазовых“. Теперь будет падение Алеши. Достоевский любит этот роман. Он обдумывал его всю жизнь. Кажется, эта часть будет еще интереснее первой.

— Только кончит ли он ее?

— Отчего же нет? Он еще не стар. Да и такие хворые люди, как мы с ним, иногда живучее всяких здоровых. И надо думать, что ни один писатель не умирает, не сказав всего, что ему надо было сказать.

— И ему мешают попрежнему?

— Что поделаешь! У славы свои тернии. Ну, дома у них все благополучно. Дети здоровы и за

лето выросли. Федор Михайлович не хочет, чтобы девочка училась французскому языку; он находит обучение иностранным языкам совершенно лишним. Анна Григорьевна, конечно, другого мнения.

В эту осень я реже бывала у Штакеншнейдеров и меньше видела Достоевского. Этот год был годом его наибольшего успеха. Речь на пушкинском празднике, „Дневник писателя“ вызывали ожесточенные нападки, но приобретали ему поклонников. Курсистки и студенты устраивали ему оvation; ему не было отбоя от приглашений на чтения, и там, где происходили чтения, энтузиазм молодежи доходил до неистовства.

У Штакеншнейдеров снова заговорили о спектакле. Федор Михайлович упорно хотел играть Отелло. Но Марья Николаевна, взявшаяся было за роль Дездемоны, передумала и отказалась, боясь недостаточно хорошо спеть знаменитую „Иву“. Кто-то вызвался предложить роль Дездемоны Панаевой (тогда еще не Карцевой), но и она отказалась, говоря, что с удовольствием взялась бы за эту роль, если бы вся она была из пения, а выступать драматической актрисой она не хотела. Так за неимением подходящей Дездемоны пришлось отложить эту затею, и нам не удалось видеть Достоевского актером да еще в такой трудной роли.

На святках, за два дня до наступающего 1881 года, я в последний раз видела Достоевского у Штакеншнейдеров. В этот вечер Елена Андреевна познакомила-таки нас.

Помню, что в начале вечера что-то читали, потом, как всегда, пили чай и болтали. В центре гостиной,

у большого стола и дивана, сидели литературские жены и прочие дамы. Кажется, А. Н. Энгельгарт, вернувшаяся из-за границы, делилась с дамами своими впечатлениями. Яков Петрович Полонский сидел с Майковым и его юным сыном. Достоевский и Елена Андреевна устроились на угольном диванчике и играли там в „дурачки“. А мы, девицы, чинно сидели рядом в противоположном углу, и один любитель, изучивший хиромантию, занимался разглядыванием линий на наших ладонях.

Елена Андреевна издали поманила и позвала меня к себе:

— Идите к нам, Федор Михайлович хочет вам погадать.

Я подошла к ним, покраснела и сказала, что мне гадать не о чем. Я знаю, что через месяц я выйду замуж.

Достоевский спросил о моем женихе: сколько ему лет, чем он занимается, русский ли он и как его зовут, и пожелал мне счастья.

— Дайте Федору Михайловичу вам погадать, — сказала Елена Андреевна. — Мне хочется знать, будете ли вы писать? Я ведь надеюсь видеть вас писательницей...

Я сделала страдальческое лицо, а Елена Андреевна, успокоительно подмигнув мне, продолжала:

— Знаете, к Федору Михайловичу часто приходят начинающие писатели за разрешением сомнения: есть у них талант или нет? По большей части они напрасно сомневаются. И ему приходится говорить им: „Dans le doute abstiens toi“. Недавно к нему родители привели юношу, — пишет стихи и подает

надежды. Спрашивают: „будет знаменит?“ Федор Михайлович сказал: „пострадать надо“. Родители остались недовольны.

— Да, остались совсем недовольны, — подтвердил Достоевский, не переставая тасовать колоду. — Что ж, погадать вам?

— Нет, зачем, — сказала я, — уж лучше я страдаю.

Достоевский улыбнулся и переглянулся с Еленой Андреевной.

— Так гадать не хотите? А я бы хорошо погадал вам. Ну, а в дурачки с нами сыграете? Вы умеете?

— Умею.

— Так я сдаю. Играете с нами, Елена Андреевна?

— Нет, играйте вдвоем, — сказала она и, поймав свои костыли и утвердившись на них, перебралась к кружку беседовавших дам, а к нам скоро подседа Софья Викторовна Аверкиева, которая сейчас же начала развязно задевать Достоевского и пикироваться с ним. Он ворчал на нее и назвал ее „Пиковой дамой“.

Елена Андреевна издали посматривала на нас и крикнула через стол Достоевскому:

— Смотрите-ка, чтоб вас не обыграли. Ведь это я — дура, а она у нас — умная.

Достоевский отвечал шутливо:

— Уж я вижу, вижу...

И хмурясь и продолжая перебирать свои карты он приговаривал:

— Но уж если вы меня обыграете, я вам этого не прощу, во-веки не прощу!

Я все-таки его обыграла и сказала:

— Простите, Федор Михайлович.

Он стал сдавать, чтобы отыгаться. Аверкиева ушла от нас, и мы снова остались вдвоем. Я была рада играть и говорить с ним, но не ощущала желания обсуждать какие-либо интересующие меня вопросы, а думала об одном: „как бы уйти во-время, не успев надоесть ему?“ Он кашлял. И мы играли, почти молча, тихо и мирно обмениваясь замечаниями вроде: „А ведь это козырь!.. как же вы отдадите такую карту?“... Потом он сказал:

— Вот мы с вами сидим да кашляем, а они вон, счастливые, не кашляют. Только ваш-то кашель пройдет, а уж мой не пройдет. Не дай вам бог такого кашля...

Он продолжал тасовать и потряхивать карты, я попробовала было встать, но неловко было сделать это, потому что я видела, что, не выпуская из рук колоды, он рассматривает меня довольно бесцеремонно и внимательно и спрашивает: „А вы капризны? вы добры? великодушны? А вы набожны? Много молитесь? Как вы молитесь?... А зло помните или прощаете? Как вы прощаете?..." Я еще мало себя знала, да и никогда об этом не думала. Старалась отвечать как можно короче и правдивее. Потом, не утерпев, я спросила его, как он начал писать, писал ли предварительно стихи и не писал ли что до „Бедных людей“ или это был его первый опыт. Нет, стихов он не писал, т. е. писал, но только шуточные. А серьезно никогда не мог. До „Бедных людей“ он ничего оригинального не написал, а начал с того, что переводил романы, которые ему нравились, романы Бальзака...

Он восхищался Бальзаком и, вслышав, что я ничего кроме „Eugenie Grandet“ не читала, сказал мне непременно прочесть „Le père Goriot“, „Les parents pauvres“ и „Un grand homme de province à Paris“.

— Прочтите это. Если понравится, я вам еще укажу и скажу, что в них хорошо.

Я спросила его, как он находит Золя по сравнению с Бальзаком.

Он сказал, что из всего написанного Золя он прочел только два романа — „Nana“ и „La fortune des Rougons“, а больше решил не читать, потому что скучно. И так подробно и такие ненужные подробности...

— Так что Бальзака вы ставите выше?

— Неизмеримо. Он и умней и интересней.

— Ну, а кого вы ставите выше, Бальзака или себя?

Достоевский не усмехнулся моей простоте и, подумав секунду, сказал:

— Каждый из нас дорог только в той мере, в какой он принес в литературу что-нибудь своё, что-нибудь оригинальное. В этом все. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги.

Мне хотелось спросить, что он скажет о Толстом, но так как уже заговорили о французах, то упомянули Флобера, Гонкуров и Додэ, из которых он читал и ценил первого, кажется, впрочем, за один только роман.

О Толстом он выразился:

— Это сила! И талант удивительный. Он не все еще сказал.

Затем он заговорил о писателях и о писательстве вообще. К сожалению, точных слов его я тогда не записала. Но, сколько помню, он говорил, что жизнь нашего общества несомненно в будущем изменится, мы шагнем вперед (народ толкнет нас на этот шаг); идеалы наши вырастут, грехи наши опротивеют нам, мы будем стыдиться того, к чему теперь придышались и привыкли, будем краснеть перед тем, чем теперь шутим и развлекаемся. И в какой мере изменится жизнь, изменится и литература. В свое время явятся и выразители этой новой жизни, нужды нет, что сейчас не слышно о молодых талантах.

Мысли долговечнее нас, и надо думать, что—сознательно или бессознательно—одно поколение продолжает работу другого. Свет не погаснет и т. д. Но говорил он все это, конечно, гораздо лучше, живее и интереснее.

Прощаясь он пожал мне руку и сказал:

— Вот вы прочтете „Le père Goriot“, и мы тогда потолкуем, потолкуем...

На следующее утро я купила „Le père Goriot“ и другие указанные мне романы и принялась читать их как заданный урок. Я рассказала моему жениху „о счастливой встрече“. И муж и брат его были горячими поклонниками Достоевского и часто вели ожесточенные споры с их двоюродным братом, который пытался развенчивать Достоевского, будучи в свою очередь ярким почитателем Салтыкова и „Отечественных Записок“.

30 января была моя свадьба, а 29-го я узнала, что умер Достоевский. Я была поражена и огорчена этой неожиданной вестью.

Опечалило меня и то, что я не могла приехать и на панихиду, так как все мои платья, кроме подвенечного, были уже уложены и увезены в Царское. Так из-за платья мне не удалось поклониться его гробу.

В день моей свадьбы я с утра уже никуда не выходила и без всякого дела бродила по опустевшим комнатам нашей квартиры (мои родители тоже выехали из нее на следующий день).

Я всеми силами старалась отгонять печальное воспоминание о покойнике; не такой был день, чтобы горевать и плакать. Но и среди разговоров о конфетах, о гостях, о певчих, мне все мерещились гроб, покров, ладан и свечи, тихое и печальное панихидное пение, заплаканная Анна Григорьевна, ее бедные дети, прислуга, толпа почитателей и почитательниц таланта, студенты, курсистки, литераторы и их жены, светские люди, черные платья, черные креповые вуали, и венки, и цветы, и слезы... А в гробу Достоевский, бледный, холодный, безмолвный, мертвый...

Позже Елена Андреевна рассказывала мне о последних минутах и днях Достоевского, рассказала мне о его похоронах и даже прислала мне лавровую веточку и кусок траурной ленты от одного из его венков. И пока жива была дорогая Елена Андреевна, мы с нею долго вспоминали Достоевского.

Вспоминали мы его вдвоем, вспоминали иногда и втроем, в те вечера, когда мы сходились у нее с невозмутимым, тихим Страховым. Потом и Страхов ушел вслед за Достоевским.

Все проходит. Понемножку рассеялся и кружок Штакеншнейдеров. Кто умер, кто уехал из

Петербурга, кого сковали болезни; все переменялись и постарели. Не стало и самой доброй хозяйки, старушки Штакеншнейдер, не стало и поэта Майкова и многих, многих других. Дольше всех держались на своих костылях „дядя“ и „тетка“. И они хворали, страдали, гасли, но все теплились и светились до конца, сохранив юношескую простоту и свежесть души и сердца. Но под конец и они сложили свои костыли. И нет уж теперь ни поэта Полонского ни моей дорогой Елены Андреевны...

ПИСЬМА Н. С. ЛЕСКОВА.

С Лесковым, как и со многими другими писателями, меня познакомила Любовь Яковлевна Гуревич, издательница „Северного Вестника“. Осенью 1892 г. ко мне приехала эта молодая особа, рассказала мне о своем журнале, принятом ею от Евреиновой, о его задачах и направлении и просила что-нибудь написать для них. Я взялась перевести им с французского воспоминания Смирновой. Мы стали часто видаться, подружились и сблизились.

— А знаете, кто к вам собирается?—как-то сказала мне Любовь Яковлевна:—ваш сосед и почитатель.

— Кто такой?

— Лесков.

— Ого...

— Да, он живет тут, совсем близко, в двух шагах от вас. Я сейчас к вам от него, прошла двором с Фурштадтской на Сергиевскую. Я ему дала ваш адрес, и он сказал, что непременно пойдет к вам.

Я сказала моей матери и отчиму, у которых я жила, что ко мне придет Лесков. Они были польщены вниманием талантливого беллетриста, которого охотно читали, и стали ждать его, припоминая и „Соборян“, и „Островитян“, и „На ножах“, и „Некуда“.

Однако Лесков к нам не шел, а Любовь Яковлевна при новой встрече сказала мне:

— Лесков-то, бедный, болен. У него грудная жаба. Мучительные припадки. Теперь он уже встал, а то

было совсем плохо. И представьте: в жару, больной, написал-таки для „Северного Вестника“.— И Любовь Яковлевна принялась с увлечением рассказывать о том, как сочувственно и благосклонно относятся к ее журналу и Лесков и сам Толстой. Лесков ведь теперь преклоняется перед Толстым. Он сильно заинтересован его учением и его последователями.

На следующее утро я прошла двором на Фурштатскую, отыскала под воротами зеленую дверь квартиры Лескова и позвонила. Мне отворила дверь горничная, попросившая пройти в кабинет и там подождать. Он сейчас выйдет; она доложит. Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. Пестрая, яркая, своеобразная. Два окна на улицу. На одном из них клетка с птицей, звонко заливающейся веселыми трелями. Мерно тикают часы. Их что-то много и, тикая, они переговариваются между собой. Сажусь на пеструю оттоманку. Вспоминаются мне чьи-то слова, чуть ли не из „Некуда“, о том, что человеческое жилище всегда выражает собой характер его обитателя. Осмотревшись в жилье людей мало знакомых, чуткий человек по неуловимым мелочам обстановки чувствует, что здесь преобладает: любовь или вражда, согласие или свары, радушие или скупость. Из соседней комнаты, тихо приотворив дверь, вышли две лохматые белые собачки: одна старая, подслеповатая, другая молоденькая и резвая. Повертевшись у моих ног, они вскочили на оттоманку и, свернувшись клубочком, улеглись возле меня. Я оглядывала комнату. И казалось мне, что стены ее говорят: „Пожито, попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть“.

И часы всякого вида и размера, мирно поддакивали: „да, пора, пора, пора...“ А птица в клетке задорно и резко кричала: „повоюем еще, чорт возьми...“

Я оглядывала комнату. По середине ее стоял большой письменный стол, на котором в безупречном порядке были разложены рукописи, тетради, книги и письменные принадлежности. На стене, за спиной сидящего за большим столом, среди картин и портретов висело узкое и длинное, совершенно необыкновенное, видимо старинное, изображение божьей матери.

У противоположной стены, поближе к окнам, стоял другой письменный стол, поменьше и попроще. Сразу было видно, что это любимый уголок хозяина. Над столом висело изображение Христа, тоже старинного письма. Книг здесь было меньше, чем на большом столе. Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза.

Дверь наконец отворилась. Вошел пожилой довольно тучный человек, не совсем еще поседевший, с выразительным умным лицом и живым беспокойным взглядом. Он был в домашней блузе из светло-серой фланели с лиловыми полосками. Блуза была не рабочая и не толстовская, а своя, лесковская.

Я сказала ему:

— Услыхав от Любови Яковлевны, что вы очень любите Льва Толстого и что вы похварываете, я пришла навестить вас.

Он молча поклонился, сел в кресло у стола и произнес с расстановкой:

— Вы меня извините... Такая подлая болезнь... Иногда мне трудно говорить. Это сейчас пройдет.

Я хотела извиниться и уйти, но он знаком попросил меня не вставать с оттоманки и, открыв ящик стола, стал перебирать там бумаги.

Вынув записную книжку, он показал мне мой адрес.

— Видите? Я к вам собирался. И рад познакомиться с вами.

Потом, отдохнув и отдышавшись, он заговорил о Толстом.

— Великий человек. Сила, смелость, мощь и глубина. Вы знаете, услышав о моей болезни, он хотел приехать ко мне. Я бы этого не вынес. Мне волнение вредно.

Лесков не так давно побывал в Ясной Поляне и был под ее обаянием. Софья Андреевна ему нравилась. Он говорил: „Она нам сохранила его. Мы должны быть ей благодарны“. Из дочерей Татьяна нравилась ему больше, чем младшая, Мария. Татьяна проще, понятнее. А Марии Николай Семенович боится. Ему хочется сказать ей: „Выди от меня. Я человек грешный“.

Я уже несколько раз порывалась встать и уйти, но Николай Семенович удерживал меня и для того, чтобы поговорить о последних книжках журналов.

Он совсем перестал задыхаться и говорил без затруднений. Мы виделись впервые, но нам казалось, что мы старые знакомые и продолжаем давно начатые разговоры. От текущей литературы мы перешли к покойникам: помянули Гончарова, Салтыкова, Мельникова-Печерского, Писемского. Последнего Лесков близко знал и вспоминал его с большой приятностью и с веселой улыбкой.

В заключение Николай Семенович заявил, что как только поправится, он придет ко мне. Он заранее извинялся в том, что придет в русском платье. Ничего другого надеть он не может. Боль сердца не допускает к нему никакого плотного прикосновения. Притом свой последний фрак он давно подарил знакомому лакею.

Так я познакомилась с автором „Чертогонна“ и „Запечатленного Ангела“. Интерес к литературе и благоговейное отношение к личности Льва Толстого сразу сблизили нас. Познакомились мы в январе 1893 г.

Николай Семенович жил в то время на Фурштаттской, с девятилетней воспитанницей Варей, посещавшей Анненскую школу, с горничной Еленой и старой стряпухой Пашеттой, с двумя белыми собачками и звонкоголосой птицей.

Это была его семья в настоящем — обстановка, к которой он привык и в которой он чувствовал себя недурно. В прошлом у него была другая семья: была жена, которая сошла с ума, дочь, сын взрослый и женатый, брат, племянники и племянницы. Ближайшие родные его жили в Киеве. В Петербурге же его навещали: супруги Макшеевы (племянница с мужем), супруги Борксениус (муж-доктор внимательно следил за состоянием здоровья Николая Семеновича и за его лечением, жена Екатерина Иринеевна баловала Николая Семеновича подарками в виде варенья, фруктов и деревенских запасов), супруги Хирьяковы, Александр Модестович и Ефросинья Дмитриевна, примкнувшие к толстовцам и перепознакомившиеся почти со всеми „простыми“ и

„темными“, Анатолий Иванович Фаресов, литератор и специалист по составлению некрологов, и Виктор Петрович Протекинский, добрейший человек, охотно исполнявший всякое поручение Николая Семеновича. На его обязанности, добровольно на себя взятой, было дежурить при больном и оберегать его от слишком назойливых посетителей. Все вышеупомянутые лица были искренно расположены к Лескову, заботились о его здоровье и охотно исполняли его поручения. О ближайших родных своих он редко упоминал. Они литературой не занимались, а он охотнее всего говорил о литературе. Он познакомил меня со своими друзьями, я его — с моими. Виделись мы с ним не часто, но почти ежедневно обменивались книгами, которые нам нравились. Варя или Елена приносили мне книги и сопровождавшие их записки, которых накопилось у меня много. Не все сохранились. Привожу уцелевшие.

11 января 1893 г.

От всего сердца благодарю вас, Лидия Ивановна, за то, что вы меня навестили. Это очень меня тронуло и обрадовало как за себя, так и за вас и за род человеческий, которым нужны люди с жизнеспособными сердцами. Потом мне досадно, что я не мог говорить, и боюсь, что вы не скоро зайдете ко мне во второй раз. Пожалуйста знайте, что я чувствую сильное сродство с вами и имею духовную потребность вас знать и иметь с вами умственное общение. Если вам не тяжело подарить мне иногда часок вашего времени, пожалуйста навестите меня и знайте, что для меня с вами приходит интерес к жизни и радость от встречи с разумением жизни. „Мимочкой“ я занят очень сильно и интере-

суюсь знать, какими сторонами вы ее теперь поворачиваете к солнцу, но я не думал давать вам советов. Я просто очень заинтересован. Читать до отделки своих работ никогда не следует, но просматривать отделанное с тем, в ком есть понимание дела, очень хорошо. Любой художник вам скажет, что собственный глаз иногда (и даже очень часто) засматривается и не замечает, где есть что-то требующее пополнения или облегчения. Иметь перед собой такого слушателя не значит подвергать себя опасности „перестать быть собой“. Лев Николаевич читал свои вещи по рукописи, и Гоголь и Тургенев делали то же. „Мимочка“ есть мастерское произведение, но ведь Ваве на Кавказе надо было бы положить какую-нибудь черточку, которой не положено, вероятно потому, что „глаз присмотрелся“. Простолюдинов вы описываете не так бойко и смело, как светских людей, но няньки в беседке все-таки превосходны. А армянин с Катей не получили от вас всего, что вы могли бы им дать вполне оставаясь „сама собой“. Вам нечего бояться. У вас ясный ум, превосходно настроенное чувство и большой талант.

Дружески вам преданный Н. Лесков.

13 января 1893 г.

Благодарю вас за ответ и за обещание посещать меня, но скорблю, что вы должно-быть горды. Однако, я буду стараться не бояться этого, хотя вообще боюсь людей гордых. Двойственность в человеке возможна, но глубочайшая суть его все-таки там, где его лучшие симпатии. „Где сокровище ваше, там и сердце ваше“.

О „Мимочке“ я могу не говорить, но какое это лишение и зачем оно? Разве мы кружева плетем, а не идем на дьяволов? Ведь у нас есть общая идея, в преданности которой есть наше „сродство“, и вот о способах служить этой-то самой идее и

надо поговорить. Какой ужас! Мучительная, проклятая сторона, где ничто не объединяется, кроме элементов зла. Всё, желающее зла, сплачивается, всё, любящее свет, сторонится от общения в деле. Лев Николаевич много сделал, чтобы поставить это иначе, но боюсь, что с ним это направление и пройдет.

Однако я в моей жизни столько переволновался за литературу и так много уже говорил о „Мимочке“, что могу вам дать обещание более не говорить о ней. Вчера я написал Льву Николаевичу, что вы меня навестили, что я был этим очень счастлив и что вы пришли ко мне, так сказать, во имя него и стало-быть он как бы был среди нас.

Когда я здоров, я ухожу гулять в два часа. До двух работаю. В пять обедаю. Потом весь вечер дома. Когда бы вы ни зашли, всегда буду этим очень обрадован. Хотел бы знать: могу ли я притти к вам, когда мне будет лучше?

Н. Л.

20 января 1893 г.

Письмо ваше прекрасно и дало мне прекрасное впечатление, за которое благодарю вас. Подвижность вашей живой души приносит большую радость за „сына человеческого“. Белинский говорил о женщинах, едва ли представляя себе лучшие образцы женского ума. Впрочем, он знал Жорж-Занд. Послал бы вам „критику богословия“ Л. Н-ча, да вы может-быть пишете и отрывать вас не надо. Я ее нашел, и она к вашим услугам. Вчера был у меня сын Льва Николаевича, Лев Львович, только-что приехавший из Москвы, и рассказывал о том, как было принято мое извещение о встрече с вами. Льву второму очень хочется свидеться с вами перед отъездом. Он придет ко мне проститься завтра, в два часа. Я ему сказал, что извещу вас о его желании с вами встретиться, чтобы еще ближе по-

знакомить с вами отца по собственным личным впечатлениям. Думаю, что вы не найдете ничего неудобного в том, чтобы познакомиться с сыном любимого вами великого человека и нашего общего друга. А скучать по вас я склонен ежедневно.

Преданный вам Н. Лесков.

26 января 1893 г.

Книги, которые вы хотите читать, при сем посылаю. „Критика“, к сожалению, очень дурно гектографирована. Зато можете держать экземпляр долго. Это очень интересно. Вчера я получил письмо от Марьи Львовны, которая пишет, что они все вами интересуются. Я им немножко вас живописал, как умел. Книги Толстого я всегда и всем даю охотно, так как уважаю защищаемые в них идеи и ненавижу ложь, которую они назначены рассеивать.

Пред. вам Н. Лесков.

27 января 1893 г.

Я очень вам благодарен за то, что вы пришли ко мне познакомиться и дарите меня вашей милой приязнью. Впечатления, которые я от вас получаю, превосходны, и я ничем не в состоянии заплатить вам за это. (Вскочите и топните). Толстым я писал о вас ранее „инцидента“, потому что вся семья хотела знать о вас, какая вы есть. И это не пустое любопытство, а интерес к человеку, который хорошо делает хорошее дело. Мы вас „прочитали“ и в содержании одобрили и полюбили вашу душу живую. А поступки интересуют уже для полноты впечатления. Описал же я вас кратко, но старательно, и с большим к вам почтением и дружелюбием. Вот и всё, и вам нечего просить: не рассказывать... Толстым-то и можно всё рассказать, потому что там сами всё говорят и притом всё понимают, следо-

вательно всё могут простить и не осудить. Это ведь удивительное по простоте семейство. Конечно, в лице отца, двух дочерей и сына Льва. Впрочем, я чту и графиню, которой „проходит душу меч“.

О „Соборянах“ говорите правду. Они вам ближе. Во всяком случае теперь я бы не стал их писать и охотно написал бы „Записки расстриги“, а может-быть еще напишу их.

Клятвы разрешать, ножи благословлять, браки разводить, детей закрепощать, держать языческий обычай пожирания тела и крова, прощать обиды, сделанные другому, оказывать протекцию у создателя или проклинать и делать еще тысячи пошлостей и подлостей, фальсифицировать все заповеди и просьбы повышенного праведника — вот что я хотел бы показать людям, а не Варнавкины кости. Но это, небось, называется „толстовство“, а то, нимало не сходное с учением Христа, есть православие. Я и не спорю, когда его называют этим именем, но оно не христианство.

Что когда о нас дурно говорят, это заключает в себе нечто справедливое, это я тоже так думаю, как и вы, и тоже не сержусь. Но тот, кто говорит о нас дурно, не располагает к себе наше сердце. Это уже непременно так. А я хочу, чтобы вы считали меня тем, что я есть, — человеком, дружески вам преданным. Пожалуйста, зайдите. Н. Л.

3 февраля 1893 г.

Уважаемый друг. Я хочу, чтобы вы позволили мне называть вас таким образом, потому что это отвечает тому, что вы для меня есть. Я вас уважаю (без фраз) и питаю к вам самое братское дружелюбие. И с вашей стороны чувствую дружелюбие. Поручений уже нет. Но надобность поговорить с вами есть. Гуревич была вчера у меня. И вот томление духа. Как бы ей пособить? Подумайте.

Я уже более не могу ничего дать скоро; а дорого яичко к велику дню. Ах, и зачем это люди все на себя набирают! Очень благодарю вас, что поручаете меня Христу. Это хорошо, и от вас это мне очень приятно. До свиданья. Н. Л.

28 февраля 1893 г.

Очень сожалею, что вы меня не застали. Варя к вам заходила и не застала вас дома, оставила оттиск вашего рассказа и адрес старшей Д.

Расставшись с вами, я долго продумал о том, что говорил вам по поводу моего одиночества, и нашел, что вы правы. Действительно, мне только так кажется, что я мог бы быть счастлив в семье. На самом деле центр моих симпатий всё ложился бы за чертами семейственности. } Хуже это или лучше? Или хорошо всё, что дано? Верно, так. Эпиктет понимал это, когда говорил: „Твое дело — хорошо сыграть свою роль в сцене мира, а пьеса написана не тобой“. Зачем вы не хотите почитать мне „Мимочку“? Какое у вас ужасное самолюбие!

Н. Л.

3 марта 1893 г.

Я очень дурно делал, что просил вас о чтении, но я не знал вашей подозрительности и брал дело просто, по-мужски, как это делается. Сожалею об этом и прошу меня простить. Много уже очень раз довелось мне просить у вас извинения, но делать нечего: пожалуйста, простите.

Теперь здесь старик Ге — старый и умный друг Льва Николаевича, единого духа с ним. Он хочет видаться и побеседовать с вами и просил меня попросить вас повидаться с ним когда вам можно. Он пишет здесь картину. Я обещал ему передать

его просьбу вам, но за исполнение ее не ручался. Он хороший и очень умный старик, но поступайте как вы хотите. Преданный вам Н. Л.

8 марта 1893 г.

Лидия Ивановна! Я написал Николаю Николаевичу Ге, что 9 марта, на „жаворонки“, по Фурштадтской д. 50, кв. 4, к двенадцати часам у меня имеет быть сервирован чай, к которому ожидаются „вы“ и „он“, о чем и сообщаю. Не забудьте: 9-го, во вторник.

9 марта 1893 г.

Не позабудьте, что сегодня прилетают жаворонки. Мороз очень большой, а потому надевайте на себя самолюбие самое небольшое, какое у вас есть в гардеробе, а большое оставьте висеть в шкапу до более естественного случая. Чай для Ге (с маслинами) имеет быть сервирован к двенадцати часам. Тогда же прилетят и жаворонки. Очень вас жду, мой милый и уважаемый друг. Должен притти и Хирьяков, если он вернулся из Москвы.

29 марта 1893 г.

Я давно не имел прямой вести из дома Толстых, а потому и не знаю, где кто из них теперь. Возможно, что Л. Н. и с ним одна из дочерей, или даже обе, уже в Ясной Поляне. Городское празднование ужасно. Впрочем, оба адреса действительны при всяком распределении семейства. Вся разница может заключаться только в одном дне промедления. Я бы, однако, теперь еще предпочел адресовать в Москву. „Студент“ очень хорош. По этому очерку умный редактор уже должен бы понять даровитость молодой писательницы. „Гашет и М. Леви“ сейчас

бы сделали опыт закрепостить себе такое дарование. Наши кулаки не додумались до этого и умеют только мозжить. Благодарю вас, что подарили Варе свою фотографию. Мы рады вам и всему, что может вас напоминать.

Н. Л.

1 апреля 1893 г.

Трепещете вы от того, что вы уж очень самолюбивы, а на самом деле трепетать вам вовсе нечего. Ужасная вы какая даже!

Елизавета Меркульевна Бем просит меня переслать с кем случится Льву Николаевичу ее рисунок на его тему. Дело только в том, чтобы положить папку на дно чемодана и не очень ее помять. Вы теперь едете: не возьмете ли эту папочку?

Нынешний кусок Смирновой очень интересен, но Пушкина все-таки жаль.

1 июня 1893 г.

Уважаемая Л. И., у меня есть к вам просьба, к которой я прошу у вас снисхождения по-человечеству и вразумительного слова. Не знаю, замечено вами или нет, что в числе различных придировок ко мне со стороны критика Буренина им было не раз выражено, что я усиливаюсь как бы равняться с Л. Н. Толстым. Ко всякой клевете в печати я давно приучен, но эта клевета была мне все-таки чувствительна, так как мне не хотелось играть пошлой роли в отношении Льва Николаевича. Но я понимал что из уст Б-на это не опасно. Он только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо пошлое и мало ему свойственное. Желание выпирать себя до несравненной высоты он мог во мне сочинить без всякого повода с моей стороны. Потому это меня и не беспокоило. Никто из общих знакомых не замечал мне, что я

стремлюсь в знаменитости и выравниваю себя по линии к Толстому. И я думал, что никто не может видеть во мне того, чего во мне нет и чего я никогда не потерпел бы в себе. К утверждению меня в этом еще более послужили неловкие, но искренние слова „Нов. Времени“, что я следую за Толстым. Это и правда. Я сказал и говорю, что я давно искал того, чего он ищет; но я этого не находил, потому что свет мой слаб. Зато, когда я увидел, что он нашел искомое, которое меня удовлетворило, я почувствовал, что я уже не нуждаюсь в своем ничтожном свете, а иду за ним, и своего я ничего не ищу и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного светоча.

Никто и никогда не слышал от меня иного, и бог, имени которого я не назову напрасно, видит, что я не ищу так называемой славы, которая мне и не дорога, и не мила, и не нужна. Если было что-нибудь в этом недостойном роде, то это было очень давно, и я с терзаньем вспоминаю, как это ужасно и стыдно, и я думаю, что теперь этого во мне нет. Я даже был в этом уверен, но, вероятно, я ошибаюсь, и во мне остается то самое, что я ненавижу. Открыли мне это — вы. Раз вы мне сказали: „Я боялась и вас, но вы... извините: вы все-таки не Толстой“.

Это меня ужасно смутило. Я подумал: „Что это? Зачем мне говорят, что я все-таки не Толстой?“ Я ничего не мог сказать вам, а вы видели мое смущение и прибавили, что я тоже что-то значу. Я долго думал, что могло вызвать эти слова у умной, сердечной женщины, которая пришла навестить меня больного. Без сомнения, во мне есть что-то чрезвычайно противное, кидающееся в глаза своей претенциозностью. Иначе, конечно, вы не нашли бы никакой нужды напоминать мне о моей неважности, а сделали это только по доброте и для моей пользы. Но я не вижу (хочу и не нахожу), в чем проступает

наружу мой грех. Поступите со мной по-человечеству, как христианка. Скажите, в чем грех мой, которым я вызвал у вас слово. Умоляю вас не забывать, что состояние моей души мучительное. Иначе бы я не стал писать вам этого письма.

Преданный вам Н. Л.

8 июня 1893 г.

Уважаемая Лидия Ивановна! Надо начинать с того, что „хвалиться своими чувствами“, и я надеюсь иметь на этот раз все преимущества перед вами, ибо мне несравненно легче любить и уважать вас, чем вам питать те же чувства ко мне. И я хорошо и полно пользуюсь выгодами моего положения, уважаю в вас то, что мне кажется прекрасным, и люблю вас так, как мог бы любить ангела—существо, которое много меня чище, выше и откровеннее богу. Чувство это мне дорого и полезно, ибо я знаю, что вы любите добро, а зло не может уживаться с вами. Во мне же любить нечего. Я человек грубый и глубоко падший, но не спокойно пребывающий на дне своей ямы. Лучшего во мне ничего нет, а за это уважать нельзя. Когда вы меня перекрестили, а я с благодарностью и уважением поцеловал вашу руку, как руку сестры, матери, христианки или ангела, я принял от вас благословение как дитя, а надлежало бы, чтобы вы прежде приняли на себя бремя моих грехов, выслушали бы мою исповедь и тогда бы подняли руку, чтобы благословить меня. Лев Николаевич иногда так исповедуется перед теми, к кому позовет дух, и это прекрасно, но я думаю, что если бы я мог сказать вам, как я гадко жил, то вы быть-может и не перекрестили бы меня, а осудили бы на эпитимию, которой я не в состоянии еще исполнить, и тогда мне было бы еще тяжелее. Так вы, пожалуйста, не говорите, что вы меня „уважаете“ и не

кидайте мне камня, когда я прошу у вас хлеба. Я вас прошу указать мне мой скрытый порок, вызывающий у людей известное проявление справедливого негодования, а вы мне пишете, чтобы я не обижался и что я когда-то сам говорил о Толстом с восхищением. Ну, что это за пустяки! Я нимало и ни за что на вас не обижался, а Толстой для меня моя святая на земле, священник бога живого, облакающийся правдою. Неужели вам опять показалось, что я могу к нему ревновать и желать сам при нем что-нибудь значить? Он просветил меня; я обязан ему более чем покоем земной жизни, а благодеяние его удивительного ума открыло мне путь в жизни без конца — путь, в котором я путался и непременно запутался бы, а вы думаете, что меня можно обидеть, сказав мне: „а вы, однако, не Толстой“.

Я не только „однако не Толстой“, но я совсем не близок к нему, но его разумение мне понятно: я нашел в нем толк и смысл, в нем успокоился и свой фонаришко бросил. Я вижу яркий маяк и знаю чего держаться.

Место, где я живу, прекрасно, и моя маленькая дача превосходна. Тишина невозмутимая и лес — в небо дыра!.. Если бы вы приехали одна или с Любовью Як. Гуревич, я помещу вас удобно и буду вам очень рад. В конце июня или начале июля хочет приехать Меншиков, но если бы вы и съехались, это меня нимало не затруднило бы, так как в двух минутах от меня есть комната в салоне, на самом берегу моря. От Татьяны Львовны и я получил письмо, в котором между прочим писано о прекрасном впечатлении, которое вы произвели на Льва Николаевича.

На письмах мне довольно писать Меррекюль, Лескову... (Не скажите: „а вы, однако, не Гумбольдт“: Но ведь тому писали: „в Европу“. А мне только „в Меррекюль“). Преданный вам Н. Л.

9 июня 1893 г.

Сейчас (10 часов утра) получил ваше письмо от 7-го июня. Как вам не стыдно говорить о том, будто вы меня обидели. Разве я вам это писал? Я хотел знать, почему и зачем люди совсем несходного нрава преследуют меня тем, что я „однако не Толстой“. Что же nibудь такое есть!.. Вот это я и хотел бы знать, и вы это знаете, но не хотите мне сказать по чувству какого-то ложного ко мне сострадания и снисхождения, а я через это всё остаюсь во тьме и таскаю на себе своего эфиопа, и мне это тяжело, досадно и противно. А вы, продолжая давать мне камень вместо хлеба, извиняетесь и говорите о „прощении“ с моей стороны. Вы очень умны, и потому общение с вами очень полезно и приятно (я чрезвычайно люблю сильные женские умы, составляющие не малую редкость), но по самолюбию своему, налагающему печать на ваше мышление, вы беспрестанно склоняетесь думать, что все имеют такую же „содранную“ кожу, что их надо поскорее смазать самаритянским елеем и главное сдать на тракте гостинику. А это совсем не так. Я дорожу встречей с вами в вечности нашего бытия и хочу от вас пользы душе моей, так как всё духовное существо ваше мне симпатично, дух мой чувствует ваше превосходство и желает послушать вашей дружбы. Говорите мне о том, что́ во мне дурно, помогите мне исправиться, а не поливайте меня бальзамом вашего снисхождения.

Посмотрите пожалуйста в июньской книжке „Недели“ очерк Дмитрия Волконского „Конец“. Это этюд очень реальный и сильный, хотя в середине есть что-то отдающее „Первоуочиной“. Но этого редко у нас не бывает. Ведь это, без сомнения, псевдоним и, кажется, нам с вами человек знакомый. Пожалуйста прочитайте и напишите свое мнение. А лучше бы еще сделали, если бы взяли плед

и подушку, приехали в Меррекюль без дальнейших сборов. Я буду вам так рад, как будто бы вы приехали по дружбе ко мне, а не потому, что у нас тут в самом деле хорошо. Энгели недавно переменили дачу и теперь живут от меня в двух шагах.

Приезжайте, ядовитая дама.

Искренно вас любящий и уважающий Н. Л.
Варя и Елена вас ожидают.

13 июня 1893 г.

Посылаю вам полученное мною письмо Льва Львовича Толстого, где есть упоминание о том, какое впечатление получил от вас Лев Николаевич. Может-быть это вам будет интересно и даже приятно, а во всяком случае успокоительно, и вы поймете мое желание сделать вам это известным. Письмо Л. Л. возвратите мне при свидании. Роман Баранцевича начинает меня интересовать, так как там есть усилие изобразить „толстовца“ и для модели взят Павел Иванович Бирюков; но делается это довольно неискусно и без достаточного знания (напр. на стр. 64 толстовец говорит о силе и гордости будущей России). И у попов, и у патриотов, и у этих пересмешников всё гордость в числе необходимых условий жизни христианского общества. В статье Воынского сказано, будто полуневежественная Обломовка не дала ни одного борца за теоретическую истину. А раскол! а сожженный попами Курицын и его товарищ! а Матвей Башкин и вообще религиозные вольнодумцы! Неужели это не борцы за теоретическую истину? Преданный вам Н. Л.

26 июня 1893 г.

Эх, Лидия Ивановна. Надо же обладать в большой мере умом и добротой, чтобы заниматься такими пустяками, как-то: как вас уважают? Ну,

что вам до этого? Друг вы наш милый и сердечный, и превысокодаровитый, и премногопроницательный! Что вам до слов и обмолвок, когда вы знаете (не можете не знать, что вас любят с большой дружеской нежностью и уважают с удовольствием для себя; это по-моему лучший род уважения). За „содранную кожу“ не обижайтесь, это так есть, и мое сравнение верно. Я только не могу понять, что могло вас так ободрать, что до сих пор вы не можете обрасти и поправиться. Извинить этого (при хорошем вашем уме) по-моему ничем нельзя, да и напрасно, это вас унижало бы. Напротив, вас надо за это язвить и гвоздить, чтобы вы сбросили эти путы и стали „в свободе чад божьих“. В том ведь и задача жизни, чтоб „дух мой жизнью стал усовершен и умудрен, вступая в вечность“. Иначе зачем бы и жизнь на земле? И вот, вам дан светильник, горящий и освещающий тьму. Существа, сродные вам, это чувствуют и радуются, подают вам дружески руку, зовут на общение: „Вот что мне видится. Скажи, что тебе видно?“ А вы вместо того сейчас поворачиваетесь содранным боком. Общение исчезает. Спокойной собеседницы и сотрудницы в искании света нет, а есть умная и даровитая, тоже и очень добрая, особа, у которой самолюбие выросло как зоб на горле, и она глядит по стенкам, выбирая тот гвоздик, на который может так себя повесить, чтобы никто не мог до нее дотронуться.

Это производит такое впечатление на очень многих и на меня, а говорю я это вам, не соразмеряя того, буду ли я в компании или один, ибо если я не один это говорю, то я говорю правду. И вам стоит обратить на это внимание, чтобы дать от светильника вашего людям всё, что он дать им может; а пока вы будете беспокойны от своего беспокойного (для вас) самолюбия, свет ваш будет обнимаем тьмой. А это противно природе света.

Письмо сестры вашей Ольги Ивановны мне очень нравится, и мне кажется, что она близко к моим о вас понятиям. Чего робеть? Для чего вы это делаете? Возлюбите священного ума светлость и простоту сердца. Станем дорожить возможностью протирать окна на свет, а не развешивать себя по колышкам („Я—не толстовка, я—не педантка, я—не Титания“). Вы—очень милый и избранный богом дух во плоти человека, и свои вас видят, чувствуют и любят. Что же вам беспокоиться? —Засим „мир божий“, который превыше всякого ума, да живет в сердцах ваших. Заключайте строки ваши ко мне поручением меня руководству Христа и подписью вашего имени, в звуках которого, как и в прекрасных порывах вашей души, до меня доходит нечто радостное, веющее прекрасной порой христианства. Тому, что вы приедете читать вместе, я рад чрезвычайно. Читать вместе и вчетвером и с таким многохитростным литературным критиком, как Меньшиков, это превосходно и для всех нас преполозно. Такие трудные вещи так и надо читать, чтобы не увлечься в одну какую-нибудь сторону, и осматривать и ослушивать с четырех сторон. Ловко ли приглашать к чтению Любовь Яковлевну — не знаю. Вы у нас такая умница, что безопаснее всего на вас положиться. Я могу удовольствоваться, повторив совет Сократа: „Поступай как знаешь — всё равно будешь раскаиваться“. Меньшиков очень умен, сердечен и прям, но сходится очень неохотно и трудно. Душа и сердце у него, мне кажется, прекрасные, но манера обхождения его многих к нему не располагает. Флексера он, кажется, не обожает и где-то его потрогал. (И в июньской книжке „Русской Мысли“ его и очень потрогали). Я не думаю, чтобы Любовь Яковлевне было приятно видеть Меньшикова, и сильно опасаясь, что и он при ней будет нем как рыба; а мы трое (по крайней мере Модестыч и я) потеряем превосходного собе-

седника. Но может-быть это выйдет и не так. Во всяком случае: „поступай как знаешь, все равно будешь раскаиваться“. Только пожалуйста напишите мне накануне или пришлите депешу садясь на поезд, чтобы я предупредил комнату в кургаузе, а то бывает, что в праздники натискаются питерщики и всё бывает занято. Я не буду вам нанимать, но попрошу приглядеть и попрошу приберечь комнату до вашего приезда. Это всё не обяжет никакой ко мне благодарностью (заключительная шпилька гордячке). Н. Л.

Читать будем то самое произведение, что вы отвозили в Москву. Оно ведь очень большое.

27 июня 1893 г.

Однако, я вчера нехорошо написал вам, Лидия Ивановна, в ответ на ваш вопрос о Любовь Яковлевне. В простоте моего „сократического метода“ было своего рода коварство, недостойное не только вашей чистоты, но и моего достоинства. Полагаться на ваш разум мне легко и выгодно, но не лучше ли сказать Любовь Яковлевне всё прямо, и пусть она соображает, как ей угодно поступать, имея в виду, что помещение в Меррекуле будет устроено и что я, конечно, буду счастлив ее видеть, а она и Меньшиков—оба очень умные люди и, конечно, знают как встретиться. Лично они друг против друга ведь ничего не имеют. А читать большое сочинение Толстого раньше всех в России и в такой компании, как мы собираемся, по-моему слишком большое удовольствие, от которого больно отказаться, и грубо было бы лишить его такого милого человека, как Любовь Яковлевна. Сейчас мы с Варей осматривали номера в Салоне. Мужчин же я помещу у себя. Прошу вас не приезжать сюрпизом, без извещения, и брать с собой плед и подушку. Затем будем радоваться о господе как умеем. Вы станете

читать нам, а мы будем слушать то, что Лев почитает за самое главное свое сочинение; будем при сем, во имя его, соблюдать умеренность в пище и питье, пребывая в любви друг к другу о духе святе. Неужели это ничего не говорит сердцу и воображению боголюбивой сестры нашей Лидии (которая, однако, сродни и Кит Китычу, ибо пока ее обидишь—она сама всякого сумеет обидеть)?

А по-моему Любовь Яковлевну даже надо стараться привезти. Я ее люблю и сожалею, что она ведет дело денежное, а этого нет поганей на свете. Я хоть и не дорос до вашего величия, чтобы сказать: „мне деньги не нужны“, но я всю жизнь заботы о деньгах считал проклятьем и допускал их только в самом необходимом, как мне казалось, количестве. Совокуплять же их для „предприятий“, да еще таких рискованных, как журнал, — это положение „адское“. Увлекайте ее с собой. Она умная, образованная и порядочная девушка во всех смыслах. Таких немного на свете, а у нас меньше, чем где-либо, а на плечах у нее лежит дело ужасной тяжести, и притом око ее несвободно. Это грозит нехорошим. Модестыч отличился перед нею. Пришел, застал ее одну и сказал, что она — Марий на развалинах (каков?). Она его поправила и сказала: „Здесь идет созидание, а не развалины“.

Я радуюсь, что вы для них что-то сделали. Вы со временем почувствуете, что это хорошо. Но не думаю, чтобы вы или я, или даже сам Лев Николаевич могли упрочить дело этого издания, в положении которого есть роковые вещи. Но мы должны оказать дружескую помощь этой милой особе.

До свидания, дорогой и уважаемый друг, не толстовка, не Титания и не что-либо иное, „еже можно есть и рещи на языке человеческом“... Никто вас, Кит Китыч, не обидит, вы сами кого-угодно обидите.

Н. Л.

Не горячиться и не сердиться, когда говорят о Толстом подлые люди, я тоже не умею. Это может-быть и нехорошо, но я тут бессилён. Это, я надеюсь, бог простит.

20 июня 1893 г.

Увы и ах, что за штуки выкидывает жизнь! После того как я написал вам такое умное и благородное письмо, в котором расшаркался почти с ловкостью военного человека, ещё сегодня получил письмо от Меньшикова, в котором между прочим есть таковы слова: „Не читайте моей июльской статьи. Она посвящена Волынскому, который пользуется вашим расположением, а я обошелся с ним в статье грубо“. Дальше объяснения того, чем Волынский вызвал это. Все это может-быть правильно, но, однако, что же делать? Если с Флексером (Волынским) поступлено жестоко, то Любовь Яковлевне будет неприятно сойтись лицом к лицу с человеком, который нанес удары ее другу. Спешу вас об этом известить и прошу вас дать делу такое направление, какое вы найдете сообразным по настроению Любовь Яковлевны. А потому любезно и разумно было бы, если бы вы поговорили с ней два-три дня спустя после выхода июльской книжки „Недели“ и ещё бы лучше, если бы вы перед тем посмотрели: какие „грубости“ связаны с этой статьей. Словом, прибегаю под вашу милость и защиту. Пожалуйста не пренебрегите дать делу такое направление, какое при всех этих комбинациях представится более благоприятным для Любовь Яковлевны.

Ваш слуга и почитатель Н. Л.

2 июля 1893 г.

Из Петербурга или из Гатчины надо выехать утром в 9 часов. Комната для вас будет нанята

8 числа, с утра. Как подъедете к нам, Варя и Елена вас встретят и проводят. Труда это не может делать никому и никакого. Я сам не беру денег взаймы, ни у кого не прошу протекций, но такой щекотливости как у вас не понимаю. Стоит говорить о том, что приглядят для меня комнату! Экое, подумаешь, одолжение! Так сразу и потеряете свою самостоятельность. Ну, характерец!

Июльские книжки журналов вчера прочел. В „Вестнике Европы“ есть Веницкая, и эта не без наблюдательности и не без таланта, но как-то, что называется у живописцев, совсем „не сделана“. Коробчевский — не искусно и бледно, мертво. Хороша статья Максима Ковалевского о Токвиле. Энгельгарт невкусно подан. Евгр. Ковалевский — неважно. Обозрения прекрасны, особенно „Из общественной хроники“. В „Северном Вестнике“ нынешний кусок Смирновой очень интересен и приятен, ибо Пушкин тут ни разу не поставлен ниже положения, которое он должен был занимать. Некоторые его суждения опережали его время (напр., о Библии и так наз. священных историях).

До свиданья! Комнату вам постараюсь найти и нанять как можно похуже и буду думать, что вы мне навсегда обязаны благодарностью и, конечно, с некоторой утратой самостоятельности. А я пребываю к вам благосклонный смиренный ересиарх

Н. Л.

[Число не помечено]

Прекрасно делаете, что выезжаете утренним поездом. Из Гатчины выходит 11 ч. 2 м. Он приедет в Нарву в 2 ч. 21 м. Пароход от Нарвы на Устье (Гунгербург) едет в 3 часа. В Меррекуль приедете около пяти. Нарвских порогов теперь не смотрите. На это нужно два часа времени: упустите очередной пароход и всё перепутаете. Пороги оставьте на

обратный путь. Погода испортилась, идет дождь и барометр сильно падает. Варя будет вас ждать на дороге. Дача Бормана, а не Ландрина. Н. Л.

Первыми прибыли на чтение: моя подруга, Наташа Юшкова, и я.

Приехав в Нарву, мы бегло осмотрели город, затем на пароходе до Гунгербурга, а оттуда на карафажке по мягкой проселочной дороге в Мерре-кюль, на границе которого нас встретил Николай Семенович с Варей. Они провели нас в кургауз, в приготовленную для нас комнату. Вечером мы пили у них чай. Уютная дачка Бормана стояла на опушке безмолвного старого леса. Пашетта, Елена, собачки — все радушно встретили меня как старую знакомую. Уголок был еще уютней, чем на Фурштадтской, не лишенный сибаритства; здесь же было много проще, и прелестью и роскошью были только чистый воздух да аромат леса.

Я сообщила Николаю Семеновичу, что Любовь Яковлевна приедет завтра, но на чтение не останется, так как не желает встретиться с Меньшиковым.

На следующее утро мы проснулись в пять часов, радуясь солнцу, морю и простору. В кургаузе все еще спали. И обойдя все запертые двери во всех этажах, мы убедились в своем безвыходном положении.

Тогда мы вылезли из своего окна, оставив его открытым, перелезли через ограду сада и, добравшись до тихо плещущего моря, радостно понеслись самым краем песчаного берега в сторону Удриаса. Солнце, небо, море, рай!

К девяти часам утра мы уже вернулись с очаровательной прогулки в кургауз пить кофе. Варя ждала нас у нашей запертой двери, недоумевая, куда мы пропали.

А дядя прислал ее узнать, будем ли мы есть мясо (если сейчас не взять его, потом уж нигде не достанешь): „вы не вегетарианки?“ Подруга моя сказал Варе, что мы—вегетарианки по убеждению, но, чтобы не обращать на себя внимания, в гостях едим то, что предлагают. Но мы всегда рады возможности есть только вегетарианское и будем очень благодарны дяде, если он не будет угощать нас мясом.

Варя с этим и ушла. Она рассказала дяде, как мы вылезли из окна, и это его почему-то восхитило. Он стал звать нас „жены легконосицы и окнеполазницы“.

После вегетарианского обеда, за которым наш даровитый беллетрист острил и веселился, прибыли с парохода петербуржцы—Александр Модестович Хирьяков и Любовь Яковлевна Гуревич. Хирьяков привез с собой рукопись последнего произведения Льва Толстого „Царство божие внутри вас есть“, но решили не приступать к чтению до приезда Меньшикова. Вечером мы все пили чай у Лескова и всё время говорили о делах „Северного Вестника“. На следующее утро мы снова в свой час вылезли из окна и погуляли, пока Любовь Яковлевна еще спала. Вернувшись, выкупались, посидели на берегу, потом проводили Любовь Яковлевну и прошли к хорошим знакомым в Шмееке.

Узнав от них, что тут же проживает молодой священник Григорий Петров, мы и его пригласили

на чтение „Царства божьего“ и познакомили его с Лесковым и Хирьяковым. К обеду приехал и Меньшиков. И в тот же вечер мы приступили к чтению объемистой рукописи, прибывшей из Ясной Поляны. Читали без перерыва, без обмена мнениями. Времени у нас было мало, а содержания рукописи много. Не помню, сколько дней мы читали „Царство божие“, но читали каждый вечер. А пробыли в Меррекуле с 8 по 14 июля. В промежутки между чтением мы гуляли, купались, ездили в Удриас, в Монплежир, в Силламяги и Вайвару, осмотрели замок барона Корфа.

14 июля утром получила письмо такого содержания:

Призван был Семен (честный человек) и нанят с коляской ствезти вас на водопад в Нарву, а там и на железную дорогу. За все это ему уплатите 4 рубля. Но так как он будет ехать назад, то он взялся еще за 1 р. 50 к. привести из Нарвы сюда меня и Варю, которые желают вас провожать, причем я выговариваю себе право сидеть где я хочу. Прошу вас быть ко мне милостивой: меня не отвергать и не „извергать“ и со мной не спорить, так как я человек больной, а вас люблю и хочу вас видеть подольше. А иначе я буду обижен и не поеду. Я теперь очень здоров.

А выехать надо в 12 часов, не позже. В 12 часов коляска будет у меня, и на балконе будет сервирован завтрак (хлеб, сыр, масло и молоко). Прошу не опаздывать. Поедем, надеюсь, хорошо.

Мир божий и мое благословение над всеми вами.

Смиранный старец, ересиарх Николай.

28 июля 1893 г.

„Тебе, мати, известно спастися, еже его образу приемше бо крест последовала еси Христу и дея учила еси презирать плоть и прилежати о душе — вещи бессмертной. Тем же со ангелом сорадуется, преподобная Лидия, дух твой“. В этом кондаке преподобной Лидии и заключается весь мой ответ на яд, капнутый вами в хвосте полученного мной письма. О, язвительница! Мне нужны „толкователи“, а вам „тайностроители“ и „чудотворцы“. Ну, и поздравляю и не завидую. А что ваша душа и ваша жизнь без сравнения ближе к христианскому образцу, чем у очень многих „толкователей“, в том я не сомневаюсь, тому верю и за то вас люблю и уважаю. Сочинение мы дочитали вместе с Хирьяковым.

Григорий Спиридонович недавно вернулся из Петербурга, был у меня и говорил, что его щуняли: зачем читает Толстого. Копию мне списывают в Петербурге, и когда она будет готова — я вам дам ее. За участие и внимание к Варе очень вам благодарен. Гардероб ее часто страдает от моего непонимания в этом деле и от ее желания скрывать его недостатки. На ваш дар ответчу архиерейским ответом при получении благодати:

„Приемлю, благодарю и ничесо же вопреки глаголю“. Славянщиной начал и ею же кончаю.

Преданный вам Н. Л.

2 августа 1893 г.

По отъезде вашем получил большое письмо Льва Николаевича. Он желает, чтобы я ему написал о наших впечатлениях. Но я это сделать неспособен и писать не буду. Напишет ему Меньшиков, который собаку съел на эти дела.

Модестыч (Хирьяков) что-то было начертал, но я его отговорил, почитая это за несвоевременное и

бесполезное. Притом думаю, что все это, что приходит нам в голову, уже не раз побывало в несравненно более сильном и совершенном уме Льва Николаевича. Я — весь на стороне автора и никакими деталями не смущаюсь. Это сделано на тех, иже хочет совершен быть, а не на простую чадь, которая хочет и небесное получить, не погубляя и земного жития сладость. Разложение и распластание очезримой фальши церковного учения, подменившего учение Христа, произведены со страшной силой и яркостью молнии, раздирающей ночное небо. Печатный экземпляр для вас у меня будет; хотя, собственно, не понимаю, зачем вы хотите читать это? Для вас там есть места очень неприятные, и весь дух сочинения вам противный и даже укоризненный. Человек, остающийся в общении с церковью, легче может читать всё, что написал о ней Вольтер, чем читать это, как молотом кованое, слово. Остается одно из двух: или подать руку автору и отвернуться от церкви, или итти и рыдать у старого алтаря и просить у него, чтобы он защитил и себя и людей от этого разрушителя, которому не было равного по силе и решительности.

5 августа 1893 г.

Благодарю вас за письмо. Я и Варя ждали его и скучали по вас. Мы вас считаем нужным и даже необходимым для нашего душевного мира. В том, что я назвал Варю бедной девочкой, нет ничего неверного. Кто же она такая? Как назвать дитя, брошенное своими родителями сначала в Воспитательный дом, а потом на мостовую? Она не бедная в смысле несчастья, так как она теперь живет тем, „чем люди живы“. Но ей нельзя отвергать помощь и участие, которые ей предлагает сердечная доброта людей.

Мне очень интересно, что вы встретились и познакомились с Кони. Он очень умен, и я думаю, что он и добр. Он был удивительный сын, любил нежно и мать и отца, который не жил с его матерью, а жил с К. Анатолий Федорович после смерти отца заботился и о матери и о К. и ее двух дочерях и получал за все это возмутительные досаждения. Я его считаю отличным человеком, и Лев Николаевич того же мнения о нем, но, как он ни внимателен ко мне, я никогда не мог с ним сблизиться. И не знаю, почему. Кажется, и Толстой едва ли не так же. За себя мне это непонятно и очень досадно. Я хотел бы знать, как это пойдет у вас. У женщин может-быть больше понятливости, чем у мужчин. Впрочем, Софья Ивановна Смирнова высказывается о нем так же. Но дела его все очень похвальны.

Улита („Сев. Вестник“) совсем разъехалась. Для журнала нет ничего хуже, как сделаться смешным. А Л. Я. это устроила. Посмотрите-ка, какой у них перевод с польского. Пересматривал его кто-нибудь или никто? Прекрасен перевод Мина „Из Теннисона“. Очень хорош. „Обозрения“ смеха и срама достойны. Коробчевский окончил глупо и подражательно. Мне бы очень хотелось получить здесь от вас еще весточку. Переезжать думаю 15—17.

Ваш Н. Л.

7 августа 1893 г.

Вчера забыл сказать про адрес М. Л. Толстой, а прежде вы меня о нем не спрашивали. Она указывала адрес такой: Сызрано-Вяземская жел. дор., станция Клекотки. Но Х сказал, что на этот адрес писать не стоит, так как Лев Николаевич говорил ему, что они там останутся не дольше, как на пару дней. Под этим внушением и я сам по этому адресу не писал, а писал, по обыкновению, на Ясную Поляну. Но, кажется, я сделал дурно, потому что от-

ветов на мои письма не получил ни от отца ни от дочери. Верно письма ждут их возвращения. Благодарю за произведение меня в „благородные“, но при занятиях литературою соблюсти благородство очень трудно. Я вас произвожу выше. Н. Л.

10 августа 1893 г.

Благословенная Лидия Ивановна, конечно, всё, о чем вы мне скажете, я приложу старание сделать, но позвольте всё же представить вам свои соображения о том, каких последствий можно и должно ожидать от составления мною того письма, какое хочется иметь Любовь Яковлевне. Во-первых, этот фортель очень стар и цензурным мерзавцам слишком хорошо известен, а во-вторых, надо же хоть немножко и знать, как упоминаемые милые люди относятся ко мне. Повторяю: фортель самый старый, общеизвестный, давно истасканный. Словом, эту затею с письмом я считаю за неуместную и недостойную такой девушки, как наша Любовь Яковлевна, ибо это, во-первых — ложь, во-вторых — старо, в третьих — это не подействует в смысле желательном, но очень может послужить ко вреду, вреду, хотя бы в том смысле, что обнаружит недостаток опытности и разборчивости в средствах к освобождению. Но, чтобы Любовь Яковлевна и вы знали, что я не уклоняюсь от освобождения вашей общей просьбы о демонстративном письме, то если слова мои для вас неубедительны и вы остаетесь при желании, чтобы Любовь Яковлевна пошла посмешить цензоров в их вертепе, то я не подорожу моей репутацией в их глазах и напишу такое письмо, о каком мне уже писал на-днях Модестыч, а теперь пишете вы. Но я все же помню, что благолюбезная сестра наша Лидия, при всей своей неопытности в делах цензурной каверзы, может это дело обнять своим хорошим умом и сама

станет на настоящую точку, а не на сию „комедийного смеха достойную“. Да будет же все сие в разуме растворено. Затем, если вы придете и скажете: „пишите“,— я напишу, но это будет единственно из приязни к Любовь Яковлевне и к вам, но для ее дела это не окажет никакого пособия, а может-быть окажет и вред. Мое же мнение таково: надо искать так называемой протекции, что́ очень противно. Но... назвался грибом, полезай в кузов. Но если мужчины, состоящие при Любовь Яковлевне, такие козыри, что ничего не редактируют, а печатают всё, что им под локоть подвалится, то журнал при таких условиях издавать нельзя. Надо же выбирать вещи и изложение их редактировать. Иначе, что же это за тон, что за стиль!

Дни стоят удивительной прелести. Уезжать очень не хочется. Но одну Варю посылать жалко. Переезд наш в столицу назначен на 15 августа, и все меры к тому уже приняты. Пренепорочной сестре нашей Наталии Александровне благодать, и мир, и любовь о госпде, во всяком долготерпении. Н. Л.

13 августа 1893 г.

В августовской книжке „Недели“ начат перевод нового, чрезвычайно милого английского романа — „Мимолетные тени“ миссис Герарден. В нем всё прекрасно; но особенно поражает случайное сходство героини Бернардины Гольм с одной из наших непорочных жен-легконосиц. Премилое произведение, на которое к обращаю ваше внимание. Там же очень хорошая статья Яковенко о книге Морлея „О компромиссе“. Отчего не вы перевели это чудесное сочинение? Пожалуйста, прочтите и то и другое.

Григорий Спиридонович вчера приходил проститься. Желание ваше исполнено. Никто его не обидел. Предположение об отъезде 15-го остается

в силе. Наталье Александровне кланяюсь. На лето будущего года приговорил себе дачу молодого Пестича.
Н. Лесков.

15 августа Лесковы вернулись в Петербург. Виделись мы попрежнему не часто, но чуть не ежедневно обменивались книгами и записками, сообщая друг другу, что прочли, кого видели, с кем встречались. Я не заходила к нему, зная, что он любит поговорить, а много говорить ему вредно. А он не мог ходить ко мне, потому что я жила в четвертом этаже, подняться до которого ему было не под силу. Обмениваться книгами нам помогали Варя и Елена, которые легко взбирались ко мне на высоту и сообщали о здоровье и настроении Николая Семеновича. Переписка шла у нас гладко, но при личных встречах случалось и поспорить, хоть и без тени раздражения. Я не могла привыкнуть к его манере, осыпав кого-нибудь восторженными похвалами, коварно указать на слабость того, кого он так хвалил. Я говорила по этому поводу, что считаю своими друзьями не тех, кто меня много хвалит, а тех, кто обо мне совсем не говорит. Н. С. возражал, что нельзя совсем не говорить о своих друзьях. При этом долг дружбы и указывать на недостатки своих друзей, чтобы помочь им исправиться. Как-то, вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не роздал своего имени нищим: „Он должен был сделать это ради идеи. Мы были в праве ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути“.

— Если это вам так ясно, — сказала я, — раз-
дайте скорее всё свое.

— Да у меня и нет ничего.

— Ну, что-нибудь найдется у всякого. Нашлась
же лепта у вдовицы...

Николай Семенович стал говорить мне о Варе,
а по моем уходе написал нашему общему знако-
мому: „Сейчас Л. И. ушла от меня в гневе за то,
что я не подарил моих часов крестьянам, которых
у меня никогда не было“.

Не могла я привыкнуть к тому, что Николай
Семенович огорчился тем, что сказал про него тот
или другой критик. Мне всегда казалось, что га-
зетные критические статьи тени подобны и как
цвет сельный опадают. Ну день, два может побо-
леть место укола, но вечно возиться со своей за-
нозой и бередить свою рану казалось мне чем-то
нелепым.

А он не верил моему полнейшему равнодушию
к критике и думал, что я рисуюсь, когда говорю,
что критики, упоминающие обо мне, делают мне
честь, а не упоминающие обо мне — делают мне удо-
вольствие.

На это Николай Семенович говорил, что кри-
тика — это избранные читатели. А писать и надо
для читателей, а не для себя только. Невидимая
связь читателей с писателями дает ему силу. Спо-
рили мы и о церкви, хотя я старалась избегать
этих разговоров.

Варя училась хорошо; помогать ей не приходи-
лось. Дядя, как она звала Лескова, сам следил за
тем, чтобы она во-время готовила свои уроки,

А когда случались какие-нибудь недоразумения на счет поведения, Николай Семенович просил меня сходить в школу и переговорить с начальницей или классной дамой.

Так мы жили мирно — они на Фурштадтской, я на Сергиевской — и привыкли друг к другу. Я жила у отчима и матери, к которой я вернулась после крушения моего семейного очага и с которой я прожила не расставаясь до самой ее кончины. Муж мой женился на другой. Я видела, что хотя мать и отчим и не тяготятся моим присутствием в их квартире, но они желали бы, чтобы я вторично вышла замуж. Нашелся вскоре молодой человек, который занял мое сердце и мои мысли. Поиграли в четыре руки, поулыбались друг другу; больше ничего и не было; но зародились смутные надежды на счастье, и крушение их было тяжело. Потом и это переболело и прошло, и я думала, что я исцелилась. Однако, когда я узнала, что „он“ венчается с другой, мне снова стало больно. Я не знала, что мне делать, куда деваться. Жизнь была пуста и страшна. Простояв полдня в Летнем саду, я вернулась домой и обрадовалась, когда мне сказали, что заходила Варя, принесла книги и очень-очень просила зайти к дяде и поговорить с ним. Он просит об этом. „А, к дяде,—так к дяде: все легче, чем дома“...

Николай Семенович взглянул на меня и спросил:

— Что с вами?

— Ничего.

— Разве я не вижу? Что случилось?

Мы сели, и я сказала:

— Случилась чужая свадьба.

И по словечку Николай Семенович вытянул у меня признание в том, кто мне нравился. Стыдиться мне было нечего. Я говорила только правду. Сказав два слова, не трудно было уже договорить и остальное.

Лесков задумался и тоже стал очень грустным. Мне казалось, что я не плачу, но раза два я отерла лицо, потому что оно было что-то мокро. Мы сидели молча, как убитые, пока не пришла Варя. Тогда мы сели к столу пить чай и заговорили о ее школе и уроках.

7 сентября 1893 г.

Всё хорошо и всё так, как вы пишете. Нет, мы ничего не сделали друг другу и не сделаем такой глупости, чтобы поссориться. За что и для чего? Но мы оба одержимы разными одержаньями, и я страшно страдаю, когда при мне другого ведет. Я вас очень прошу не сердиться. Мой дух исполнен к вам уважения и дружелюбия. Варя к вам непременно придет. Это ее тянет без напоминания. А в одном вам, женщинам, хорошо: хорошо, что вы можете плакать. Я не мог вообразить такого совпадения, как свадьба К—ва. Я все понимаю: как это хоть и не имеет значения, но и имеет значение. Мне очень больно за вас, но „алмаз алмазом режется“. Что поделаете, если так уж налажено и так идет? Но как вы, бедняжка, еще крепко держитесь за жизни! Не надо этого. Вы не из тех, которым будет дано земное счастье. „Укрепляйте себя на вышнее“. Мною же пренебрегите. Но если хотите и можете, чтобы приязнь ваша была со мной, то я это буду чувствовать и благодарить вас в сердце моем.

Уважающий вас Н. Л.

24 сентября 1893 г.

Я слышал, что вы вчера заходили ко мне. Из этого вижу, что вы на меня не сердитесь и не лишаете меня вашей приязни. Очень вас благодарю за это. Я о вас часто думаю и все надеюсь, что идет так, как нужно для живой и бессмертной стороны вашей. Вчера я виделся с П—ой и говорил с ней о К. Она их знает. Меньше будьте под крышами когда грустно. Потом всё пройдет и будет мило. Какой бы ужас был, если бы всё это пошло иначе и вы имели бы успех. И вдруг увидели бы, что это тоже не лучше того, что снято с плеч. Ведь это так очевидно, что глаза режет. Будьте горды. Гордость только и хороша для того, чтобы ею воздерживать себя от соблазнов. Имейте меня в своей милости. Я не смею просить вас зайти, но если зайдете, очень меня обрадуете. Я себя чувствую сносно. Читаю вторую часть „Мир, как воля“. Всё чувствую, как будто ухожу.

Преданный вам Н. Лесков.

21 декабря 1893 г.

Уважаемая Л. И.! Посылаю вам „Стальную блоху“. Если мы с вами и раззнакомились, это не мешает тому, чтобы у вас была моя книжка, за которую я денег не платил. Примите ее по старой памяти и дайте вашей маме почитать больному генералу, который найдет тут что-нибудь знакомое и может-быть улыбнется. В наши с ним годы и это чего-нибудь стоит. В отношении нашей разлуки ничего не скажу, как то, что всё искреннее лучше неискреннего. И хорошим людям порой бывает друг с другом тесно, и это надо так оставить, пока покажется кому-нибудь по ком-нибудь скучно. Я уже говорю всем, кто меня о вас спрашивает, что я вами покинут и вполне того стою, но умышленно о сем

рачения не прилагал. Желаю вам всего полезного и доброго. Н. Л.

5 января 1894 г.

Усердно вас благодарю за поздравление с новым годом и сам вас поздравляю. Я посылал к вам Варю, но она вас не застала. Умер Гайдебуров. Это меня очень поразило и огорчило до слез. Он был из хороших людей, и с ним можно было кое-что делать на пользу просвещения тьмы. Число таковых мало, и убыль их тяжела.

Благожелания ваши хороши. Во всяком разе они лучше, чем бывают у всех, но тоже с недостатками. Надо желать „добрых и полезных душам нашим“. Тут всё, что нужно. Я вам желаю „добрых и полезных душе вашей“, которую я чрезвычайно люблю и иногда ею люблюсь. У меня вы были прелестны. Особенно вы меня утешали ответом Г—у. Я сказал, что это внушают не плоть и кровь, а дух, живущий в ней. Вы этим ответом сделали именины душе моей, и я был восхищен. Пусть это кому-нибудь кажется „форсом“, но я знаю, что это дух дышит.

Софье Ивановне я сказал всё, что вы хотели. Книжку Нордау ставлю совершенно так же, как и вы. В ней много умных и интересных мыслей, но любить в ней нечего, как любишь Сенеку, Марка-Аврелия и им подобных.

Спасибо 1893 году за то, что он нас свел и познакомил и может-быть приятнью подарил.

Ваш слуга Н. Лесков.

30 декабря скончался редактор „Недели“ П. А. Гайдебуров. Много литераторов съехалось на его похороны на Смоленском кладбище. Николай Семенович тоже был там. Я видела его после похорон, и он говорил мне, как приятно было ему видеть

это множество интеллигентных, умных лиц. Но он не преминул простудиться на кладбище и расхворался. Лечил его доктор Чудновский, а как брат милосердия — ходил за ним Виктор Петрович Протескинский, или добрый Витя, как мы все его называли. Навещали больного и заботились о нем и Ефросинья Дмитриевна Хирьякова, и Екатерина Иринеевна Борхсениус, и другие знакомые, но Витя находился при больном безотлучно.

8 февраля 1894 г.

Усердно благодарю и вас, и маму вашу, и вашего генерала за „Вестник Европы“. Всё хорошо. Поправляюсь. Вас видел, как-будто и не видел. А не деликатность людей даже неимоверна. Записка на двери о том, чтобы больного не тревожили, для них неубедительна. Звонят и ломятся и врываются и спорят с девушкой, и все это или ни для чего или для того, чтобы я подписывал „ручательства“ в литературный фонд на их займы.

Витя с его добротой не защитил меня вчера от такой ужасной нахалки, которой я до сих пор не видал в глаза. В общем мне значительно лучше. Когда вам будет удобно, навестите меня.

6 апреля 1894 г.

То, что вы пишете о толстовцах, очень интересно. Я тоже не спускаю их с глаз и думаю, что ими можно уже заниматься, но непременно с полным отделением их от того, кто дал им имя или кличку. Я все-таки вижу в них и хорошее. Некоторые имена из тех, что вы называете, мне известны. Клопский даже очень любопытен, если только он не в состоянии невменяемости. Уехать в Меррекуль рассчитываем между 15 — 20. Усердно просим вас

в гости, если не погнушается. Будем рады и имеем где поместить вас. Любовь Яковлевна у меня была и Флексер также. Суд над ними еще не состоялся. Поп поступает с вашей сестрой как обычно поступать этим особам, т.-е. попам. Описан он превосходно. Льву Николаевичу надо бы кое-что сказать, да совестно его беспокоить. Очень рад, что молодой Лев поправляется. Амшель — один восторг.

Варя держит свои экзамены довольно сносно, а впрочем результат еще неизвестен. Ге был восторженно приветствован в Москве всеми художниками. У меня был Протопопов (критик), которому я подарил фотографию картины Ге, и он через день прислал мне любопытное письмо, а я написал с него копию и отослал ее Николавре (Ге).

Протопопов принимает картину за верное изображение по Матвею (27,14) и Марку (15, 32), у которых сказано, что оба разбойника поносили его, а не по Луке, который сам дела не видал и правдоподобием не стеснялся. Оба поносят, и он умирает, буквально оставленный всеми и совсем не имея надежды сейчас перенестись в рай и пригласить туда вежливого соседа. Он оканчивает свою эпопею любви к людям полнейшим „героизмом“, поносимый всеми; а его немногочисленные друзья молчат, как мы, „страха ради иудейска“. Мне кажется, что это суждение верно.

Весной Николай Семенович перебрался с домочадцами в Меррекуль на новую, более просторную, дачу. Там ему сразу стало лучше. Лето стояло очень хорошее. Когда в июле я приехала в Меррекуль, я увидела, что Николай Семенович окружен вниманием и заботой родных и знакомых, живущих там же, на даче.

Макшеевы, Борхсениус, все близкие ему люди навещали его чуть не ежедневно. Варя перезда-

комилась с моими закомыми, которых было много в Меррекуле, и приобрела себе подруг. Много новых лиц заявляло Николаю Семеновичу о своем желании познакомиться с ним. Он на это жаловался, говоря: „Вот желают, желают, а придут—говорить не о чем. И оказывается и представления не имеют о том, что я писал. Что за радость знакомиться? К чему?“

Я остановилась в кургаузе. Встретили меня Лесковы, как всегда, дружелюбно и просили заходить, но я заметила, что, приглашая меня, Николай Семенович каждый раз озабоченно переспрашивал меня, в котором часу я приду, а иногда и прямо объявлял, что в такие-то и такие-то часы нельзя его видеть. Я всегда старалась твердо помнить это и соблюдать порядок; но случилось, что, получив из Петербурга письмо с поручением к нему, я позабыла о его предупреждении и побежала к нему за справкой. Смотрю: он сидит один на своем крытом балконе; на столе стоит перед ним темная бутылка, с которой он не сводит глаз. Выражение лица странное, на щеках румянец, глаза блестят, взгляд не то блаженный, не то безумный.

Я подумала: „неужели он пьет?“ Мы встретились глазами, но он не шевельнулся и сидел как оцепеневший, а я поспешила пробежать к Варе. Я спросила ее:

— Что с дядей? Что это за бутылка перед ним?

— Эфир, — сказала она и улыбнулась.

Тогда я вспомнила, что выходя на прогулку Николай Семенович теперь всегда брал с собой какие-то капли. Раз я спросила его:

— Что это? Нашатырный спирт?

Он взглянул на меня загадочно и тихо сказал:

— Нет, эфир, эфир...

Я вспомнила, каким я видела его на балконе, и мне стало жаль его. Я пошла на кухню к Пашетте и сказала ей:

— Зачем вы даете ему эфир?

— А что поделаешь, если он привык? Он не может без этого. Теперь уж ничего не поделаешь.

И Елена подтвердила, что он уже без этого не может. Это его поддерживает.

Он хорошо провел это лето в Меррекуле и осенью вернулся на Фурштадтскую как будто поправившимся.

В „Русском Вестнике“, в „Северном Вестнике“ и в „Неделе“ печатались его новые небольшие рассказы. Обращались к нему часто издатели благотворительных сборников с просьбой дать рассказец. Это сердило его, и он ворчал: „Что же они не говорят прямо: дайте двести, триста рублей. Что у меня эти рассказы на полу что ли валяются?.. Напишите сами!.. Вон мужик на улице в телеге телят везет на продажу, а кухарка попросит: дяденька, подари мне теленочка?... Он ей что покажет? а?“ Долго и многословно поворчав, Николай Семенович принимался все же шарить у себя в ящиках стола и давал просителям какой-нибудь брак, как он говорил. Рассказывая мне об этом, он спрашивал: „А у вас они не просили? Будут просить — не давайте...“

Писал Николай Семенович всегда по утрам, до двух часов, пока Варя была в школе. Писал он на аккуратно нарезанных четвертушках разлинован-

ного в клетку листа. Много раз переправлял и переписывал свои писания, оставаясь неудовлетворенным до последней редакции.

— Кончили? — спрашивала я его входя.

Он пожимал плечами и, махнув рукой, говорил:

— Отослал.

С дачи Николай Семенович вернулся как будто поправившимся, но скоро снова начал прихварывать. Он не мог уже выходить и потому передал на мое попечение несколько бедных семейств, которых он в течение многих лет навещал и поддерживал настолько тайно, что когда он умер и все эти бедняки явились проститься с покойником, родные и знакомые его с удивлением их оглядывали и спрашивали меня: „это что за персонажи?“

Бедному Николаю Семеновичу предписано было врачами избегать волнений, но при живости его кипучей натуры не волноваться — значило почти не дышать.

Плохая статья в журнале приводила его в негодование, хорошая — возбуждала в нем радостное волнение. Не мог он к чему бы то ни было относиться равнодушно. То я заставляла его до-нельзя разгневанным на столяра, который, не поняв данных ему указаний, не так сделал кресло, то выводила его из себя каким-нибудь промахом Варя.

— Что с ней будет? Что с ней будет? — стонал он, сверкая глазами.

— Да что, собственно, случилось?

— Ну, как же: ушла сегодня в школу, надела лиф одного платья, а юбку другого. Елена смотрит: юбка ушла в школу, а лиф дома остался.

— Экая важность! Никто и не заметит. Коричневое и то и другое.

— Коричневое! Что у нее в голове! Так жить нельзя. Коричневое!.. Что с ней будет?..

Теперь я чаще заходила к нему. Мы меньше переписывались, но больше виделись. Я старалась не говорить ничего неприятного и раздражающего его. Только когда уж он слишком обрушивался на священников, которых неизменно называл: „попами“, я, не сдерживаясь, называла его и Льва Толстого сектантами.

— Нет, не сектанты, — поправлял он меня. — Мы не сектанты, а еретики. А я только не понимаю, как при вашей очевидной любви к Толстому, — ведь вы его любите, — как он для вас не авторитет. Непонятно. Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.

В январе он начал заметно слабеть. Сердечные припадки учащались. Последнее письмо его ко мне, не помеченное числом, написано уже не прежним, а изменившимся почерком:

Февраль 1895 г.

Уважаемая Лидия Ивановна! Я очень болен и не выхожу. В мокроте откашливаю кровь. Состояние духа колеблется: то так, то иначе. С мнениями вашими о повестях Чехова и Боборыкина вполне согласен и высказывал то же самое. Было на меня нашествие Веницыной, и еще навещил меня Третий Иванович Филиппов, и это было очень характерно и оригинально. От сестры вашей получил письмо, да не знаю, надо ли ей отвечать. Вам я боюсь о себе напоминать. Чертков не бывал. Они обижены.

Я ведь обязан их оберегать, а не правду говорить. Очень нездоровится.

Н. Лесков.

Получив эту записку, я сейчас же пошла к нему. Он стал мне рассказывать полушутя-полусерьезно о своем свидании и примирении с Т. И. Филипповым и с писательницей А. А. Виноцкой. С обоими у него были недоразумения и с обоими он расстался в раздражении. А теперь они почему-то вспомнили о нем и пришли мириться. Два примирения на одной неделе! Хотя Николай Семенович не выглядел слишком худо, мне стало как-то особенно, чуть не до слез, жаль его.

Мы заговорили о Толстом, и Лесков решительно заявил, что со смертью Льва Николаевича „всё это, вся игра в толстовство кончится; да так кончится, что и вспоминать об этом никто не будет“.

Я не возражала. Он сказал, что мне надо было выйти замуж за иностранца. Я была бы счастлива только с иностранцем. Всякого русского я всегда бы видела насквозь. А это мешает счастью. В иностранце оставалось бы что-то мне не вполне понятное, что я могла бы украшать сердцем и фантазией до надлежащего блеска.

Говорил он всё это сидя в своем кресле у маленького стола, а я сидела на оттоманке.

Николай Семенович снова заговорил о „Северном Вестнике“, о письме моей сестры, взял ее адрес и сказал, что ей напишет. Мы простились, не подозревая, что больше не увидимся, и я ушла.

У меня мелькнуло в голове, что Николай Семенович недалеко от смерти. Т. Ив. Филиппов посоветовал Лескову бросить аллопатов и перейти на лечение гомеопатией. Больной попробовал последовать этому совету, но ему стало хуже. Друзья и родные уже столько лет были свидетелями этих временных ухудшений, что и на этот раз не ожидали конца.

19 февраля, в субботу, он почувствовал себя лучше, даже шутил и был весел. 20-го, в воскресенье, встав с постели, он оказался настолько слабым, что родные встревожились. И в ночь с 20 на 21 сын остался у него ночевать.

В эту ночь, в 4 часа, меня разбудила наша горничная Ольга, говоря: „Дайте поскорее адрес Толстого. Вот вам карандаш. От Лескова пришли. Он скончался“.

Я поспешила написать адрес Толстых и просила передать, что приду утром, как только у нас встанут.

В семь часов утра Ольга вторично разбудила меня. Пришел Виктор Петрович Протекинский, Витя, добрый брат милосердия, разгонявший назойливых посетителей. Он сообщил мне, что сейчас с покойника снимают фотографию. Его еще не трогали. И если я пойду сейчас, то увижу его еще в той позе, в какой он умер. А сейчас после того, как сделают снимки, приступят к вскрытию. Я наскоро закуталась, и, пробежав проходным двором, мы вошли с черного хода в кухню, где плакала Варя. Жалко было бедную сиротку. Сын Лескова, офицер пограничной стражи, и его жена вышли нам навстречу и провели меня в спальню Николая Семе-

новича, которой я еще не видала. В дверях кабинета стоял аппарат фотографа, который продолжал делать снимки.

Николай Семенович лежал на диване, под одеялом, в той самой покойной позе, в которой он встретил смерть. Лицо его было бледно, но спокойно, почти весело. Над диваном, на котором он спал и умер, висел большой портрет Льва Толстого.

Невестка Николая Семеновича рассказала мне, как он скончался. Уже с вечера ему было нехорошо. Он что-то беспокоился, волновался, собирал свои ключи... Затем неожиданно затих и уснул. Тогда его оставили одного, чтобы ему было покойнее. Но сын всё время стоял за дверью и вслушивался. Всё было тихо: ни вздохов ни стонов. В час и двадцать минут старушка Леонила Ивановна тихонько, на цыпочках, вошла к нему с грелкой. Наклонившись к нему, она увидела, что он мертв. Доктор Борхсениус, последнее время лечивший Николая Семеновича, сказал мне, что агонии не было. Смерть была мгновенной: паралич сердца.

Покойный оставил сыну свою „посмертную просьбу“. Он просил хоронить его без обрядов, без священников, без венков, без речей и как можно проще; просил не ставить ему дорого стоящего памятника, а самый простой деревянный крест.

Об этом скромном деревянном кресте он и раньше не раз говорил мне и другим своим знакомым, писательнице Екатерине Ивановне Зариной, его хорошей знакомой. А когда я как-то заметила, что дорогой памятник дольше простоят, а деревян-

ный скоро сгниет, — он сказал: „А если мой крест сгниет и никто не поставит мне нового, значит я это и заслужил“.

В холодное и ветреное утро гроб Николая Семеновича закрыли, вынесли и поставили на дроги.

У ворот на Фурштадтской собралась толпа, в которой спрашивали: „Кого хоронят?“ — Писателя Лескова. — „Писателя?“ — Среди собравшихся последовало некоторое разочарование, когда из ворот выехала скромная колесница, без венков, без балдахина.

На Волковом кладбище, на литераторских мостках, недалеко от могилы Шелгунова ждала Николая Семеновича раскрытая могила.

Прошло тридцать с лишним лет со дня кончины Лескова. Из молодой женщины я превратилась в дряхлую, ветхую старуху. Думаю, что и деревянный крест на его могиле обветшал не менее. Но неветшающий памятник, который он сам воздвиг себе своими сочинениями, стоит твердо и прочно.

С Гаршиным я была близко знакома и по личным встречам и по отзывам и рассказам о нем наших общих родственников.

Мать писателя, Екатерина Степановна Гаршина, рожденная Акимова, была двоюродной сестрой Егора Ивановича Акимова, женившегося на моей родной и единственной сестре. Семьи Гаршиных и Акимовых стали мне не чужими.

И вместе с другими родственниками я радостно приветствовала выступление Всеволода Гаршина на страницах „Отечественных Записок“ и гордилась его блестящим успехом. Все заговорили о его рассказе „Четыре дня“, о котором французы сказали бы: „Pour un coup d'essai un coup de maître“...

И читающая публика и пишущая братия — все всколыхнулись, встрепенулись, заинтересовались новым талантом.

— А ты знаешь кто автор? — не без гордости спросила сестра: — Племянник мужа, сын Екатерины Степановны. Он пошел на войну добровольцем и был ранен. Симпатичный, славный юноша. Только больной, к несчастью. Он сидел уже у Фрея, это грустно.

Мне невольно вспомнились слова Достоевского: „пострадать надо“. Очевидно, судьба заботилась о молодом таланте, открывая ему с первых шагов такие области страданий, как война и дом

умалишенных — „das schrecklichste der Schrecken!“ (самое ужасное из ужасов).

За четыре года он дал нам еще ряд рассказов, свидетельствовавших о его живом и ярком таланте и о его благородной, чуткой и сострадательной душе.

Не мало рассказал он нам о бедных солдатах, замученных тяжелой службой и трудными походами; рассказал он нам и о болезни и смерти своего друга Кузьмы, страданиями которого он пытался измерить зло, причиняемое войной. „Сколько муки, — думал он сидя у постели больного, — сколько тоски здесь, в одной комнате, на одной кровати, в одной груди. И всё это лишь капля в море горя и муки, испытываемых огромной массой людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях горами мертвых и полумертвых, еще копошащихся, окровавленных тел“.

Рассказал он нам о виденном на заводе рабочем, о поразившем его „глухаре“, изнемогающем от своей адской работы. Узнав о существовании „глухарей“, он поехал на завод и увидел человека, сидящего в котле и держащего изнутри заклепку клещами, что есть силы напирая на нее грудью. А снаружи мастер колотил по заклепке молотом, чтоб выделать шляпку. Нелегко целый день выносить грудью удары здорового молота, сидя в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холодно. А „глухарь“ или сидит или лежит на железе. Не во всяком котле и сидеть-то можно. Лежи, знай, на боку да подставляй свою грудь под удары. Тяжела работа „глухарей“, которых так прозвали, по-

тому что они часто глохнут от непрерывного трезвона. Нелегко и ремесло бедной Евгении (она же Надежда Николаевна). Она не сидит в котле и не подставляет грудь под тяжелые удары молота, не слышит постоянного трезвона. Но возможно, что она была бы рада поменяться своей участью с горемычным „глухарем“. Насурьмив брови, нарумянив щеки, приодевшись, она ходит по улицам, идет в Пале де-Кристалль, в Эльдorado, посещаемый разрядом женщин, которых знакомый Евгении юноша называет „клапанами общественных страстей“. Там она хорошо пляшет скверные танцы и возвращается домой, думая: „За что меня при жизни бросили в ад? Разве не хуже ада то, что я переживаю?“...

Почти все действующие лица рассказов Гаршина страдальцы, более или менее безропотно несущие свое иго и вызывающие сострадание и жалость.

Родился он в 1855 году. А в конце 1872 года, когда ему минуло семнадцать лет, у него стали обнаруживаться припадки страшной душевной болезни, которая все сильнее овладевала им. Пришлось поместить его в лечебницу Фрея. Там его вылечили, и к лету 1873 года он совсем поправился.

В следующем, 1874, году он успешно окончил курс училища и поступил в Горный институт. В это время он уже ясно сознавал и чувствовал свое призвание к писательству и пробовал свои силы.

Сблизившись с кружком художников, он сделался непрямым членом их собраний. На их „пятницах“ впервые читались его произведения.

Летом 1876 года стали доходить вести о неистовствах турок в Болгарии. А в апреле 1877 года была

объявлена война России с Турцией. Гаршин готовился с товарищем к экзамену по химии. Но как только принесли манифест о войне оба товарища подали прошение об увольнении их из института и уехали в Кишинев, где поступили рядовыми в пехотный полк, который через день выступил в поход.

В конце августа, в числе других пострадавших, привезли в Россию и раненного в ногу Всеволода Гаршина. И до выздоровления он оставался у матери. Приехав в Харьков, он сейчас же занялся своим рассказом „Четыре дня“ и, обработав его, отослал в редакцию „Отечественных Записок“. Рассказ напечатали; автора признали выдающимся талантом. Литературное его имя было упрочено. Это одушевляло и радовало молодого писателя, и в течение всей зимы он чувствовал себя совершенно здоровым. Но с наступлением весны его стала одолевать тоска; расположение его духа омрачилось. С той поры и впредь, почти каждую весну, у него повторялись эти пароксизмы беспредметной тоски.

В конце 1878 года он получил отставку. Зиму 1878 — 1879 года он провел в Петербурге. Там он написал рассказы „Трус“ и „Встреча“.

Осенью 1879 года он вернулся в Харьков. Но там хандра овладела им с небывалой силой. Он не мог избавиться от угнетавшей его бессонницы. В конце зимы он уехал в Петербург, в Москву, в Рыбинск, думая вернуться оттуда снова в Харьков. Но, доехав до Тулы, он бросил в гостинице все свои вещи и поехал дальше верхом. Пожил он некоторое время у матери известного критика

Писарева, затем продолжал странствовать то пешком, то верхом, что-то проповедуя крестьянам. Завернул он и в Ясную Поляну и повидался с Львом Толстым. Изложив ему несколько мучивших его вопросов, Гаршин сообщил ему, что собирается издать все свои рассказы под одним общим заглавием „Страдания человечества“ и затевает еще новое большое произведение под заглавием „Люди и война“ — его протест против войны.

Побеседовав с маститым яснополянским мудрецом, Гаршин продолжал свои странствования, среди которых неожиданно столкнулся со своим братом Евгением, который давно уже отправился разыскивать его. Братья приехали вместе в Харьков. Прожив там три недели, Всеволод снова исчез. На этот раз его нашли уже в Орле, в доме умалишенных, в буйном отделении. Связанного и в отдельном купе его привезли в Харьков, в лечебницу для душевнобольных на Сабуровой даче. Через несколько месяцев, по совету профессора Ковалевского, его перевезли в Петербург и поместили снова у Фрея. Там он вполне оправился от помешательства, но очень ослабел, был разбит физически и нравственно и казался полуживым. Таким его привезли в Харьков, куда за ним вскоре приехал его дядя Владимир Степанович Акимов, с тем чтобы взять больного племянника к себе в имение в Херсонской губернии.

В Ефимовке, на берегу Днепровско-Бугского лимана, Всеволод прожил с 1880 г. до весны 1882 г. Степное раздолье, чистый воздух, тишина, покой, уединение, внимательное и ласковое отношение

к нему родных, их неусыпные разумные заботы о больном—благотворно повлияли на его состояние.

Зиму 1880—1881 г. у сестры моей в Петербурге гостила Таня, дочь Владимира Степановича Акимова. Я с ней познакомилась, и мы с ней подружились настолько, что етали переписываться, когда Таня вернулась к себе в Ефимовку.

В. каждом своем письме она сообщала мне что-нибудь и о Всеволоде, который жил у них. Она подробно писала мне о его здоровьи, лечении, настроении, сообщала, что они читают и порознь и вместе, писала мне и о невесте Всеволода, о том, как его мать относится к этому предполагаемому браку. В июне Таня написала мне, что Всеволод собирается в Петербург для свидания с Тургеневым, с которым он в переписке. Тургенев заинтересовался рассказами Гаршина, очень участливо относился к его болезни и теперь приглашал его на всё лето в свое имение Спасское-Лутовиново. Туда же была приглашена семья Якова Петровича Полонского, тоже дружелюбно относившегося к Всеволоду Гаршину. Он взял у Тани мой адрес, чтобы побывать и у меня в Царском до его отъезда в Спасское.

И вот как-то я сидела у себя на окне с любимой книгой, то читая, то отмахиваясь от пчел, которые жужжали и кружились над резедой и левкоями, стоявшими в ящике на моем подоконнике. Передо мной было море зелени царскосельского парка, большая дубовая аллея и входные ворота, поминутно впускавшие и выпускавшие гуляющую и катающуюся публику.

Об автомобилях в то время еще не было и помину. Велосипеды—и те казались диковинкой и пугали непривычных лошадей. Зато на фоне густой свежей зелени то и дело мелькали силуэты изящных всадников и стройных амазонок.

Я читала разговоры Гёте, собранные Эккерманом.

„Славное было время, — говорил Гёте, — когда мы с Мерком были молоды. Наша литература была еще белым листом, на котором надеялись написать много хорошего. Теперь он до того исписан и испачкан, что на него неприятно смотреть, и умный человек не знает, где бы ему что-нибудь написать“.

Вошел денщик и остановился в дверях.

— Что тебе?

— А там вольный человек пришел.

— Кто?

— Не могу знать. Так что вольный, из Питера.

Я встала навстречу гостю. Вошел скромно одетый молодой человек с красивым и приятным лицом, с довольно длинными волосами и темной бородкой.

— Гаршин, — сказал он.

Я обрадовалась и послала денщика искать мужа, наскоро написав: „Иди скорее. У нас Всеволод Гаршин“.

Гость мой сел. Он был так молод, что несмотря на свою даровитость и свой успех, не внушал мне ни малейшей робости. Мы заговорили о его дяде, Владимире Степановиче, о Тане и ее здоровье. У нее были слабые легкие, и одну зиму ей уже пришлось прожить в Каире. Теперь она стремилась поступить на Бестужевские курсы и поселиться

у своей тетки Гаршиной, матери Всеволода. Я находила рискованным ее переселение в Петербург, но Всеволод утверждал, что она теперь совершенно здорова, а в деревне ей скучно.

Рассказав о Тане, он стал рассказывать о себе. Он приехал в Петербург, чтобы заняться изданием своих рассказов отдельной книжкой. Шесть рассказов и две сказки — все, что он пока написал. Я спросила его о его литературных знакомствах. Накануне он провел целый день в Ораниенбауме у Салтыкова. Он знаком с Салтыковым, с Плещеевым и другими выдающимися сотрудниками „Отечественных Записок“. Познакомился он и с Тургеневым, который относится к нему очень сочувственно и возлагает на него надежды. Вообще рассказы его доставили ему много интересных знакомств. И сейчас ему пишут и посещают его зачастую совершенно незнакомые люди.

Я выразила опасение, как бы его не захватили и не испортили.

Он улыбнулся и сказал:

— Нет, я ведь знаю, как я далек от того, что нужно настоящему, большому писателю.

Муж мой всё не шел, а вечер был так хорош, что жаль было сидеть в комнатах. Я предложила гостю пройтись в парк и покататься на лодке. Он охотно согласился.

Выходя из ворот казармы, мы наткнулись на моего деверя, юного жизнерадостного подпоручика.

В парке мы взяли лодку. Гаршин сел на руль, я взяла весла.

Мы все трое были молоды и веселы. Гаршин не подавлял нас умом и серьезностью. Он мог дружить с Салтыковым и Тургеневым, нам и горя было мало. Мы об этом забывали и чувствовали себя с ним так хорошо и просто, точно век были знакомы. В детстве я не знала ни одного писателя, кроме нашего родственника, старичка-поэта А. Н. Струговщикова. Позже, для того чтобы познакомиться с Достоевским, я стала бывать в литературном салоне Штакеншнейдеров. Кроме Достоевского я встречала там Страхова, Майкова, Полонского, Случевского, Загуляева. Все они были много старше меня, и в те вечера, когда не было Достоевского, случалось иной раз и позевывать от скуки. Теперь передо мной был писатель другого лагеря, мой сверстник, и я чувствовала, что он мне много ближе по душе, чем посетители салона Штакеншнейдеров.

Мы стали мирно беседовать. Заговорили мы о Чехове и Надсоне, с которым Гаршин тогда еще не был знаком. Но он любил его, как любило его все наше поколение. Пусть это не был великий поэт — это был наш поэт. Мы его любили, знали и с сочувствием и нежностью цитировали. Мы могли предпочитать ему Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, но когда мы влюблялись, мы не вспоминали ни Тютчева ни Фета, мы вспоминали:

О любви твоей, друг мой, я часто мечтал,

И от грез этих сердце так радостно билось...

или „Я пришел к тебе с открытою душою“. Все мы декламировали: „Завеса сброшена“ и т. д. Эти стихотворения были молоды в одну пору с нами, и нас

связывала с ними нежная дружба. Я лично не встречалась с Надсоном, но уже много слышала о нем от поэта Ф. А. Червинского, который успел познакомиться с Мережковским и Надсоном и был под обаянием последнего. Как мы все печалились о его болезни! Как нас обижали нападки на него!

— Все мы больные, — с виноватой улыбкой заметил Гаршин по поводу болезни Надсона.

— Да. Вы знаете Вiniusкую?

— Как же! Сотрудница „Отечественных Записок“. Тургенев как-то стал при ней печалиться о хилости и хворости семидесятников и сказал: „Посмотрите, какими богатырями мы были! Лев Толстой вон до сих пор косит и пашет“. А Вiniusкая сказала ему на это: „Да, вы выросли еще на тучной ниве крепостного права“.

К Льву Толстому Гаршин относился с уважением и с симпатией, интересовался его религиозными исканиями, но умолчал о том, что был у него. О Достоевском он отзывался в тоне „Отечественных Записок“ и статьи Михайловского „Жестокий талант“. Он прибавил, что Достоевский был безразличный человек.

Мы с Вячеславом, как горячие поклонники Достоевского, поспешили заступиться за него. Я сказала:

— А кто из нас нравственный человек? Кто имеет право поднять руку, чтобы бросить камень?

— Я не бросаю камня, — мягко сказал Гаршин, — но я слышал о таких фактах его жизни... Было бы лучше, если бы их не было.

— Может-быть, их не было?

— Может-быть.

Из иностранных авторов любимцем Гаршина оказался Диккенс.

Поменявшись местами в лодке, мы заговорили о войне.

— Зачем вы пошли на войну?

— Нельзя было не итти. Сидеть на месте и читать газетные сообщения было нестерпимо.

Всеволод и не жалеет, что поехал. Он узнал войну, но попутно узнал столько удивительных людей, с такими сердцами, с такими характерами... Кажется нигде не встречал еще таких чудных людей, как среди солдат.

— И для вас эта среда была новой? Раньше вы вращались исключительно среди интеллигентов?

— Да. — Но и среди интеллигенции он знает много чудных людей, честных, серьезных, одаренных и самоотверженных.

По поводу рассказа „Художники“, к которому мы несколько раз возвращались, он рассказал нам о своем знакомстве с Репиным и другими художниками.

Накатавшись досыта, мы вернулись к пристани, вышли на берег и пошли вокруг пруда. Гаршину нравилось в Царском, и он несколько раз повторял: „а как здесь хорошо!..“

— Слишком уж прилизано, — жаловался мой дед, — и потом вот это... — он с презрительной гримасой кивнул в сторону роскошного экипажа, в котором полулежали модно одетые и до тошноты приличные мумии.

— Чем они тебе мешают? — сказала я. — Не нравятся — не смотри. Конечно, здесь хорошо. Я ра-

дехонька, что живу у входа в парк и могу совсем не знать города. А как чудно у нас осенью, когда всё это запестреет всевозможными красками, закраснеет и созреет рябина, белки прыгают с дерева на дерево, а в траве и на дорожке под ногой шуршат опавшие листья. Вы любите деревья?

— Очень. Я люблю тополи и ивы.

Гаршин вообще любил юг и в свою очередь стал рассказывать нам о том, как хорошо в Ефимовке, особенно весной, когда бегут ручьи и распускаются полевые тюльпаны.

— Ну, вот мы и познакомились! — сказал он мне с доброй улыбкой. — Положим, я и раньше знал уже вас по вашим письмам к Тане.

— И я вас знала по ее письмам. Но я представляла себе вас худым и бледным.

— Я и был таким: это уж в Ефимовке меня так раскормили.

— Странное дело, — заметил мой деверь Вячеслав, — отчего это с иным субъектом живешь бог знает сколько лет, каждый день встречаешься, разговариваешь, а что у него на душе — так и не узнаешь. А с другим два часа поговоришь — и кажется век его знал. Что значит узнать человека? Полюбить его, что ли?

— Узнать, что он любит и что думает, — сказал Гаршин.

— И как он поступает, — прибавила я.

— Это вытекает из того, что он любит.

— Ну, не всегда. Обломов любил свою Ольгу, любил все возвышенное и прекрасное, а...

— Обломов любил спать и спал. Я вот люблю писать и пишу. А вы что любите?

— Не знаю. Кажется, больше всего я люблю слышать о каких-нибудь хороших поступках.

— Это много легче, чем самой совершать их, — насмешливо заметил мой деверь.

Мы заговорили о любви, о том, что надо любить всех и всё — всякую былинку, всякую букашку.

— Не трудно любить былинку, за что ее не любить? Трудно любить тех, кто причиняет зло существам, любимым нами.

— Конечно. Если я люблю „глухаря“, как могу я любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел?

— А кто же его туда упрятал? Кто, как не мы сами?

— Ну, конечно, мы сами создаем весь яд, весь ад, все страдания нашей жизни.

— Мы поддерживаем зло тем, что терпим его...

Мы говорили по-очереди, то все сразу, то слушая друг друга, говорили так громко, с таким одушевлением, что встречные гуляющие и с недоумением и с пренебрежением поглядывали на нас, но мы не смущались и продолжали кричать, что надо всем дружно ополчиться на зло...

Солнце садилось, и повеяло свежестью. Серебристые ивы низко склонили над водой свои тонкие ветки.

В парке мы встретили моего мужа. Я представила друг другу обоих Всеволодов, и все вместе мы вернулись домой в казармы.

В казармах проиграли зорю. Гаршин снова стал нам рассказывать о Салтыкове, которого он видимо очень любил, о том, как несмотря на свою болезненность и раздражительность он всегда был добр к начинающим писателям, как радовался их удачам и успехам, как был прям и правдив в своих отзывах. Одному поэту, доставившему в редакцию стихотворение многостопного размера, он сказал при Гаршине:

— Разве это стих, голубчик? Это шест, голубей гонять.

Всеволод Гаршин был убежденным противником войны. Он признался, что пишет большое сочинение под заглавием: „Люди и война“, его протест против войны. Мы порадовались этому: „Как хорошо! Как это нужно и дорого!“

Он замолчал, задумался, потом стал улыбаться.

— Чему вы смеетесь?

— Да вот, сказал вам свое заглавие. Теперь это сочинение не будет напечатано. У меня есть верная примета. Если я прежде времени проговорюсь кому-нибудь о заглавии статьи, она не увидит света.

— Вы верите приметам?

— Да, только своим собственным.

Гость наш много говорил за чаем. Несмотря на свою молодость он много видел, много пережил, и всё, что он рассказывал, было интересно и так непохоже на обыденные рассказы гостей. В его речах и в его отзывах о людях не только не было злобы, но не было даже и тени иронии или насмешливости. Нам было очень хорошо с ним и не хотелось отпускать его. Он нравился нам все больше и больше.

Но к симпатии, которую он внушал своей душевной добротой, невольно примешивалась и какая-то тревога за него. Несколько раз, среди разговора, он вскользь упоминал: „когда я был в доме умалишенных“... Очевидно он хорошо помнил это, и невольно становилось немножко жутко при виде человека, который говорил „когда я был сумасшедшим“ так же просто и спокойно, как другой сказал бы: „когда у меня была корь“.

Бедный исцеленный душевнобольной производил впечатление светлого, задушевного, благородного необыкновенно милого существа, над головой которого висит и колеблется какая-то таинственная, тяжелая и мрачная завеса, которая вот-вот упадет и скроет его.

И всей душой хотелось отстоять, отвоевать спасти его, не допустить, чтобы этот ужас вновь коснулся его.

Мы долго сидели за чайным столом, мечтая о том, как всё на свете изменится к лучшему. Войны и казней не будет. Это исчезнет, как исчезли уже пытки и человеческие жертвоприношения. Исчезнут и всякая несправедливость, всякая жестокость и насилие. „Глухарь“ не будет уже корчиться в глубине котла, принимая грудью удары тяжелого молота; Надежда Николаевна перестанет называться Евгенией, перестанет белиться и румяниться и „хорошо“ плясать свои скверные танцы, а потом стоять над прорубью в мрачном отчаянии, проклиная жизнь и развратное общество, среди которого она не видела ни одного хорошего человека, ни до ни после своего падения. Вор-инженер, строящий свой „мол“ на бу-

маге, будет поставлен в невозможность мошенничать и т. д. и т. д. Словом, все изменится. Любовь и жалость честных сердец смоют всю грязь нашей жизни, и в обновленном светлом мире... „радостно вздохнут усталые рабы“...

Мы мечтали и мечтали, а часовая стрелка мерно совершала свой круг, напоминая о близости последнего поезда. Жаль было отпускать такого дорогого гостя. Не хотелось указывать ему на часы. Однако он сам взглянул на них, вскочил и стал прощаться. Он ушел, и дверь за ним закрылась.

Скромная темносерая крылатка исчезла с вешалки. Голос Всеволода Гаршина перестал раздаваться в наших комнатах, напоминая о его доброй улыбке. Но остался у нас какой-то неуловимый легкий след побывавшего здесь хорошего человека.

Таково было наше первое впечатление. Гаршин уехал в Спасское Тургенева, где уже были все Полонские. Там ему тоже было хорошо и спокойно; там он написал „Записки рядового Иванова“.

Осенью в Петербург приехала из Ефимовки Таня, поступила на Бестужевские курсы и водворилась в Саперном переулке у своей тетки, Екатерины Степановны Гаршиной, с которой я давно уже была знакома, как и с младшими сыном ее, Евгением Михайловичем. С переездом к ним Тани я стала чаще бывать у них. Здесь, в уютной Таниной комнате, я вторично встретила Всеволода Гаршина, по возвращении его из Спасского. Он выглядел бодрым и здоровым и был полон надежд и планов. Дела его шли прекрасно. Он издал свою книжку, писал новый рассказ и собирался жениться. Зимой он и

женился, после чего переехал от матери на другую квартиру. За время этих встреч первое благоприятное впечатление только укрепилось; никаких разочарований даже в мелочах не пришлось испытать. Окружающие его друзья и родные любили его и верили ему. Надсон, познакомившийся с ним приблизительно около этого же времени, записал в своем дневнике: „Положительно влюбился в Гаршина. Да, этот человек переживет себя. На нем печать несомненная, употребляя выражение X“.

К весне бедная Таня расхворалась, слегла, а потом уехала за границу. С ее отъезда я стала реже видаться с Гаршиным, но от общих родственников знала, как поживают молодые. Жили, повидимому, благополучно, дружно и спокойно. Медицинские познания жены были нелишними для того, чтобы беречь больного мужа. Мать жаловалась, что не знает, чем его кормить, когда он приходит, — сделался вегетарьянцем.

Жена берегла его, и здоровье его было не хуже, хотя попрежнему зима проходила для него легко, а с приближением весны подступали хандра и бессонница. Зимой 1886 года он был настолько здоров, что поговаривал о поездке в Англию и на юг России. Но и на этот раз с приближением весны ему стало хуже. Друзья советовали ему уехать. Н. А. и М. П. Ярошенко предлагали ему пожить на их даче в Кисловодске. В первых числах марта состояние его здоровья еще более ухудшилось. Стали собираться в дорогу. Больной сам съездил к Фрею посоветоваться с ним. Доктор посоветовал ехать

немедленно и надеялся на возможность улучшения его состояния.

19-го марта, накануне назначенного дня отъезда, когда всё уже было готово, все вещи уложены, Всеволод, после мучительной бессонной ночи, вышел на лестницу и в припадке безумной тоски бросился в пролет.

Его подняли живым, но разбитым и с переломанной ногой.

В четверг, 24 марта, он тихо скончался. Болезнь не пощадила. И не стало нашего талантливового писателя, не стало славы и надежды нашего бледного, незадачливого поколения.

Когда в вечер нашего первого знакомства с Всеволодом Гаршиным он ушел от нас, стало грустно, что он так скоро уходит. Как же больно было теперь думать о том, что он ушел от нас навсегда, ушел так неожиданно, так рано, не сказав всего, что он мог сказать нам! Что делать! Говорят: любимцы богов рано умирают. И Всеволод, если не ошибаюсь, умер тридцати трех лет.

В субботу 26 марта его торжественно и трогательное хоронили.

Читатели, почитатели, друзья, родные и знакомые несметной толпой провожали гроб до могилы, которую покрыли цветами и венками, произносили речи.

Не стало Всеволода Гаршина, но остались нам его прекрасные художественные рассказы, которые он собирался издать под одним общим заглавием: „Страдания человечества“. Я надеюсь, что воля скончавшегося даровитого писателя будет исполнена и рассказы его будут переизданы под тем заглавием, которого он желал.

Что касается его сочинения „Люди и война“, о котором он говорил и Толстому, повидимому оно было уничтожено, если и было написано. После смерти автора я расспрашивала и его вдову и его родных: они ничего не знали об этом и нигде не находили его „Протеста против войны“.

Не знаю, все ли его рассказы были переведены на иностранные языки. Когда я писала моему знакомому писателю — шведу, рекомендуя ему переводить Короленко и Гаршина, он ответил мне, что почти все рассказы и Гаршина и Короленко уже переведены на шведский язык. Вероятно и немцы и англичане не пропустили их без внимания.

После „Войны и мира“ и „Севастопольских рассказов“ Толстого, казалось бы, нелегко блеснуть еще военными рассказами, но Гаршин так живо, просто и правдиво рассказал нам то, что он видел на войне.

Хороши также рассказы „Художники“, „Сигнал“, „Медведи“ и другие. Как трогательно прощание старого цыгана с его любимым старым медведем, которого он должен убить. Как хороша его прощальная речь, обращенная к бедному старому другу — медведю...

Я люблю все рассказы Гаршина, но самым любимым моим рассказом всегда был „Красный цветок“.

Сорок лет прошло уже со дня смерти Всеволода Гаршина. Читает ли новое поколение его прекрасные рассказы? Слышит ли вложенный в них вопль благородной души? Ценят ли чистоту и прелесть этого таланта?

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аверкиев 140, 145, 148.
 Аверкиева, С. В. 140, 153, 154.
 Агафья Михайловна 31, 75.
 Акимов, В. С. 215, 217.
 Акимов, Е. И. 211.
 Акимова, Т. В. 216—218, 222, 226, 227.
 Александр III 13.
 Алехины (братья) 16.
 Амшель 45, 52, 60, 200.
 Андерсен 66.
 Анненкова, Л. Ф. 117, 118.
 Аренский 132.

Б

Б., Марья Николаевна, 140, 144—146, 151.
 Бальзак 154, 155.
 Баратынская, Е. И. 65.
 Баранцевич, К. С. 178.
 Башкин, М. 178.
 Белинский, В. 168.
 Бем, Е. М. 173.
 Берг 140.
 Бертенсон (доктор) 122.
 Бестужева-Рюмина 89.

Бирюков, П. И. 16, 56, 59—62, 65, 85, 87, 90, 97, 104, 107—109, 112—114, 173.
 Бирюкова, П. Н. 112, 113.
 Боборыкин, П. Д. 25, 204.
 Бондарев 9.
 Борхсениус (доктор) 165, 200, 207.
 Борхсениус, Е. И. 165, 199.
 Буренин, В. П. 122, 131, 173.
 Бульмер 115.

В

Вагнер, Е. А. 83.
 Вагнер, Н. 89—91, 118.
 Варнава (монах) 8, 9, 26, 37, 43, 170.
 Васнецов, В. М. 18, 64.
 Вересаев, В. В. 123.
 Верещагин, В. В. 140.
 Веригин, Петр 94, 95, 127, 132.
 Вестерлунд (доктор) 102.
 Винницкая, А. А. 184, 204, 205, 220,
 Витте, В. 139, 147.
 Волконский, Дм. 177.
 Волькенштейн 72.

Вольтер 189.

Вольнский (Флексер) А. Л.
9, 63, 178, 180, 183, 200.

Г

Гапон, Г. 73.

Гаршин, Вс. 22, 209—229.

Гаршин, Е. 215, 226.

Гаршина (Акимова), Е. С.
211, 218, 226.

Гайдебуров, П. А. 198.

Ге, Н. Н. (Колечка) 28, 79.

Ге, Н. Н. 11, 12, 14—28, 60,
64, 65, 76, 77, 79, 81, 171,
172, 200.

Ге, П. Н. 79.

Герарден 192.

Герцен, А. И. 26, 66.

Гете, В. 217.

Гоголь, Н. В. 167.

Гольденвейзер 131, 132.

Гонкуры 155.

Гончаров, И. А. 154.

Горбунов, И. И. 16, 37, 33,
56, 58, 87, 117.

Горбунова 37.

Горемыкин 109.

Горький, М. 122, 123.

Гримм 85.

Грот 59.

Гуревич, Л. Я. 8, 9, 37, 63, 81,
82, 161—163, 170, 176,
181—183, 185, 190—192,
200.

Д

Дебароль 22.

Детра (гувернантка) 40, 42,
46, 62, 78.

Джордж, Генри 51, 81, 108.

Диккенс, Ч. 221.

Дитерихс, А., О., М. 110.

Дитерихс (Толстая), О. К.
117, 118.

Додэ, А. 155.

Достоевская А. Г. 141, 142,
148, 149, 151, 157.

Достоевский, Ф. М. 25, 26,
137—157, 211, 219, 220.

Дрожжин 61, 103.

Дудченко 72.

Дунаев 56, 117.

Е

Еврейнова 161.

Ещенко, Ем. 59.

Ж

Жуковский, В. А. 26.

З

Загуляев 140, 148, 219.

Загуляева, 140.

Занд, Морж 168.

Зандер (доктор) 23, 24, 27.

Зарина, Е. И. 207.

Заханевич, В. Е. 89.

Зиновьевы 23.

Зсля, Э. 34, 155.

Зотова, 86.

И

Ивин, И. 114.

Игумнова, Ю. И. 125.

Иоани Крнштадтский 91,
204.

И

- Калмыков, В. 94.
Калмыков, И. 94.
Калмыкова, Л. 94.
Калугин 16.
Капустин 93, 94.
Карлейль 37.
Касаткин 68.
Клодт (баронесса) 91.
Клопский 72, 86, 199.
Ковалевский, Евгр. 184.
Ковалевский, М. 184.
Ковалевский, проф. 215.
Колесников, Силуан 92, 93.
Кони, А. Ф. 101, 190.
Коробчевский, 184, 190.
Короленко, В. Г. 229.
Котарбинский 18.
Кропоткин, П. 114.
Кузминская, В. 23, 24, 31, 33,
35, 44, 45, 47—51.
Кузминская, Т. А. 7, 8, 15,
38, 42, 49—51, 55, 70, 73.
Кульман 92.
Курицын 178.

Л

- Лаодзы 51.
Леянов 119.
Леонтьев 42, 43, 48, 54, 58.
Лермонтов, М. Ю. 219.
Лесков, Н. С. 9, 10, 11, 15,
16, 37, 38, 43, 62, 64, 65,
87, 159—208.

М

- Майков, А. Н. 140, 148, 152,
158, 219.

- Махлаковы (братья) 63.
Макшеевы 165, 200.
Маликов 92.
Марья Кирилловна (горнич-
ная) 70.
Марк Аврелий 163, 198.
Маркс, А. Ф. 84.
Махортов, П. 114.
Мельников-Печерский, П. И.
164.
Меньшиков, М. О. 37, 38, 43,
58, 59, 89, 107, 108, 118,
119, 124, 130, 176, 180, 181,
183, 185—188.
Мережковский, Д. С. 220.
Мерк 217.
Мин 190.
Михайловский, Н. К. 220.
Мод 114.
Морлей 192.
Моцарт 132.
Мэвор 114.

Н

- Нагорнова 131.
Надсон, С. Я. 219, 220, 227.
Назимовы (сестры) 145.
Неплюев, Н. Н. 118, 119.
Нестеров 18.
Никашидзе (княжна) 95.
Никифоров 56, 57.
Новоселов 16.
Нордау, М. 198.

О

- Оболенский, 38, 65, 83, 116
118, 124.
Олсуфьевы 83, 88.
Оскрагелло 57.

Л

- Павел Петрович (губернер)
33, 56.
Панасова (Карцева) 151.
Паскаль 80.
Пастернак 33.
Перуджино 18.
Пестич 193.
Петров, Григорий 43, 186,
188, 192.
Писарев, Д. И. 215.
Писемский, А. Ф. 164.
Платон 53, 163.
Плещеев, А. Н. 218.
Побирохин (хлыст) 92, 93.
Познанские 7, 15.
Половцев, А. В. 89.
Половцева 89.
Полонский, Я. П. 140, 143,
150, 152, 158, 216, 219.
Полонская 140.
Попов, Е. И. 32, 35, 36, 42,
43, 46—50, 56, 57, 112,
113.
Прахов 18.
Протекинский, В. П. 166, 199,
206.
Протопопов, М. А. 64, 200.
Пушкин, А. С. 66, 147, 173,
184, 219.

Р

- Радаев 92.
Рафаэль 18.
Рахманинов 132.
Рачинская, М. 80, 99, 101.
Рачинский, К. 99, 101.
Рачинский, С. 36.

- Рейн (доктор) 21.
Репин, И. Е. 127, 128, 221.
Розанов, В. В. 65, 125, 126.
Розанова 125, 126.
Ругин 16.
Русановы 117.
Руссо 54.

С

- Савицкий 92.
Салтыков-Щедрин М. Е. 143,
156, 164, 218, 219, 224.
Селиванов 92.
Сенека 198.
Слепцов 62.
Случевский, К. К. 140, 145,
146, 219.
Смирнова, А. О. 161, 173, 184.
Смирнова, С. И. 190.
Сократ 180.
Соловьев, Вл. С. 26, 65.
Сопочко 16.
Спиноза 163.
Стасов, В. В. 56, 58.
Стасюлевич, М. М. 108.
Страннолюбский, А. Н. 69.
Страхов, Н. Н. 25, 78, 80, 88,
98—101, 103, 117, 140,
143—145, 148, 157, 219.
Страхов, Ф. 67, 68.
Стрехова 68.
Струговщиков, А. Н. 219.
Суворин 7, 8.
Сулержицкий 115.
Суслова, И. 92.
Сухотин, М. П. 117.
Сютаев (отец) 9—11.
Сютаев (сын) 110.

Тверитинов 92.

Толстая, А. А. 103.

Толстая, А. Л. (Саша) 15, 40,
42, 45—47, 49, 50, 54, 62,
65, 80, 97, 105, 120, 125,
128—130.

Толстая, В. С. 56, 57.

Толстая, Д. Ф. 102, 104.

Толстая, М. Л. (Маша) 7, 9,
10, 14, 16—18, 21, 23, 24,
27, 30, 34, 39, 41, 43, 45—
53, 55, 56, 58, 59, 61—63,
65—81, 83—86, 95, 96, 99,
100, 107, 116—120, 123,
124, 126, 129, 133, 134,
164, 169, 190.

Толстая, С. А. 7, 11, 15—21,
23—25, 27—30, 32, 33, 36, 37,
40—42, 45—51, 54, 55, 62,
63, 65, 67—70, 75, 78, 83,
84, 86, 87, 95, 97—99, 101,
103—107, 119, 120, 124—
127, 129—131, 133, 135,
164, 170.

Толстая, Т. Л. (Таня) 7, 9, 10,
14—25, 27, 28, 30, 31, 33—
39, 42, 43, 45, 46, 50, 55—
57, 59, 60, 62, 63, 65, 66,
68—71, 73, 74, 76, 81—84,
86, 87, 97, 98, 101—103,
116—118, 120, 125, 164,
176.

Толстой, А. К. 146.

Толстой, А. Л. (Алеша) 96,
105.

Толстой, А. Л. (Андрей) 14,
18, 38, 55, 56, 97, 117, 118.

Толстой, И. Л. (Ванечка) 11,
15, 27, 28, 30—32, 36, 41,
42, 47—49, 53—55, 60,
62—64, 77, 80, 84, 85, 87,
95—97, 105, 128, 134.

Толстой, И. (Илья) Л. 27, 36,
71.

Толстой, Л. Л. 9, 10, 14, 27,
41, 43, 45, 47, 49, 53—55,
58, 60, 63, 65, 66, 69—
72, 76—78, 80, 81, 84, 97,
102, 104, 105, 124, 126,
130, 168, 170, 178.

Толстой, Л. Н. 5—135, 155,
162—165, 167—178, 181—
183, 186, 188—190, 193, 200,
204—207, 215, 220, 229.

Толстой, М. Л. (Миша) 38, 56,
62, 64, 97.

Толстой, С. Л. 27, 68, 71, 99,
101, 115.

Толстой, С. Н. 70, 97, 104.

Трегубов, И. М. 16, 95, 108,
109, 113, 114.

Трофим (навозчик) 12, 13, 14,
39, 40.

Трут 7.

Тургенев, И. С. 20, 167, 216,
218—220.

Тютчев, Ф. И. 219.

Ф

Файнерман 72, 73.

Фаресов, А. И. 166.

Фет, А. А. 78, 219.

Фигнеры 73.

Филиппов, Данила 92.

Филиппов, Т. И. 204—206.

Флобер, Г. 155.

Франс, А. 130, 131.

Фрей (доктор) 211, 213, 215,
227.

Фрейлиграт 102.

Ж

Хилков, Д. А. 16, 95, 107—
109, 113—116.

Хирьяков, А. М. 10, 11, 37,
109, 165, 172, 180, 182,
186—188, 191.

Хирьякова, Е. Д. 165, 199.

Хохлов 42, 43, 48, 54, 58,
60.

Ч

Чайковский 104.

Червинский, Ф. А. 220.

Чертков, В. Г. 16, 17, 59, 73,
75—78, 88—91, 103, 107—
109, 113, 114, 204.

Чертков, О. К. 110.

Черткова, А. К. 17, 88, 89,
91, 109, 110, 117.

Черткова, Е. И. 88.

Чехов, А. П. 123, 127, 130,
204, 219.

Чудновский (доктор) 199.

Ш

Шелгунов, Н. В. 208.

Шкарван (доктор) 113.

Шмидт, М. А. 42, 52, 53, 59,
73, 74, 116, 120.

Шопен 76.

Штакеншнейдер, Е. А. 139—
143, 146—153, 157, 158, 219.

Шуберт 76, 104.

Щ

Щербатова, М. Н. 89, 118.

Щуровский (доктор) 122.

Э

Эккерман 217.

Энгельгарт 184.

Энгельгарт, А. Н. 152.

Энгели 178.

Энрольд, В. Ф. 89.

Эпиктет 171.

Ю

Юшкова, Н. 37, 185.

Я

Якобий 89.

Яковенко 192.

Ярошенко, М. П. 227.

Ярошенко, Н. А. 62—66, 91.
227.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	
У Льва Толстого	5
Достоевский	137
Письма Н. С. Лескова	159
Всеволод Гаршин	209
Указатель имен	230